

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://ulitskaya@ludmila.ru/> приятного чтения!

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая

Девочки

Дар нерукотворный

Во вторник, после второго урока, пять избранных девочек покинули третий класс «Б». Они уже с утра были как именинницы и одеты особо: не в коричневых форменных платьях с черными фартуками и даже не в белых фартуках, а в пионерских формах «темный низ, белый верх», но пока еще без красных галстуков. Шелковые, хрустяще-стеклянные, они лежали в портфелях, еще не тронутые человеческой рукой. Девочки были лучшие из лучших, отличницы, примерного поведения, достигшие полноты необходимых, но недостаточных девяти лет. Были в классе «Б» и другие девятилетние, которые и мечтать не могли об этом по причине своих несовершенств.

Итак, пять девочек из «Б», пять из «А» и пять из «В» надели после второго урока пальто и галоши и выстроились перед школьным крыльцом в колонну попарно. Сначала одной девочке не хватило пары, но потом Лилию Жижморскую затошнило на нервной почве и она пошла в уборную, где ее вырвало, а затем напала на нее такая головная боль, что пришлось отвести ее в кабинет врача и уложить на холодную кушетку – чем восстановилась парность колонны.

Старшая пионервожатая Нина Хохлова, очень красивая, но косая девушка, председатель совета дружины взрослая семиклассница Львова, девочка-барабанщица Костикова и девочка Баренбойм, которая уже год ходила в Дом пионеров в кружок юного горниста, но еще не научилась выдувать связных мелодий, а пока умела только издавать отдельно взятые звуки, встали во главе колонны.

Арьергард состоял из Клавдии Ивановны Драчевой, которая в данном случае представляла собой не ту часть себя, которая была завучем, а ту, которая была парторгом, одной родительницы из родительского комитета с двумя разлегшимися на плечах развратными черно-бурыми лисицами и старичка-общественника, знающего, вероятно, тайну хождения по водам, поскольку его сапоги среди водоворотов непролазной грязи сверкали идеальным черным лоском.

Старшая вожатая дала сигнал, тряхнув помпоном на шапочке и двумя мощными кистями на свернутом дружинном знамени, барабанщик Костикова протрещала «старый барабанщик, старый барабанщик, старый барабанщик крепко спал», Баренбойм надулась и издала кривой трубный звук, и все двинулись по мелко-извилистому, но в целом прямому маршруту через Миуссы, Маяковку, по улице Горького к музею. Такие же колонны двинулись от многих школ, как мужских, так и женских, потому что мероприятие это имело масштаб городской, республиканский и даже всесоюзный.

Колченогие мускулистые львы, похожие на волков, с незапамятных времен привыкшие к отборной публике, меланхолично наблюдали с высоких порталов за шеренгами лучших из лучших и притом таких молодых.

– Сколько мальчишек, – неодобрительно сказала Алена Пшеничникова своей подруге Маше Чельшевой.

– Это не хулиганы, – пронцательно заметила Маша.

Действительно, мальчики в теплых пальто и завязанных под подбородками треухах были мало похожи на хулиганов.

– А девочек все-таки больше, – настаивала на чем-то сокровенном и не до конца выношенном Алена.

Тут их ввели внутрь музея, и у всех дух свело от имперско-революционного великолепия полированного мрамора, начищенной бронзы и бархатных, шелковых и атласистых знамен всех оттенков адского пламени.

Их подвели к гардеробу, и они строем стали раздеваться. Галоши, кушаки, рукавицы – всего было слишком много. Всем было неловко, и каждому как будто не хватало по одной руке. По той, которая была занята сверточком с пионерским галстуком, положить который было некуда. У одной только толстухи Соньки Преображенской обнаружился карман на белой кофточке, и она положила в него драгоценный

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
сверточек.

Пионервожатая Нина, покрытая пятнистым румянцем, держа в вытянутых руках тяжелое древко дружинного знамени, повела их по широкой лестнице вверх. Ковер, примятый медными прутьями на каждой ступени, был зыбким и пружинистым, как мох на сухом болоте.

Позади всех шла родительница, снявшая из-под пышных лисиц незначительное пальто и утопая подбородком в толстом меху, а рядом с ней в чудесном образе не запятнанных сапогах – старичок-общественник, сверкая металлической лысиной не хуже, чем голенищами.

– Алена, – в шею Алене зашептала стоявшая позади нее Светлана Багатурия, – Алена! Я все забыла, мамой клянусь.

– Что? – удивилась хладнокровная Алена.

– Торжественное обещание, – прошептала Светлана. – Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, перед лицом своих товарищей... а дальше забыла...

– ...торжественно обещаю горячо любить свою Родину, – высокомерно продолжила Алена.

– Ой, вспомнила, слава богу, вспомнила, Аленочка, – обрадовалась Светлана, – мне только показалось, что я забыла!

Народ все прибывал, но никто не путался и не размешивался, все стояли по классам, по школам, ровненько, а весь длинный зал сплошь был заставлен витринами с подарками товарищу Сталину. Они были из золота, серебра, мрамора, хрусталя, перламутра, нефрита, кожи и кости. Все самое легкое и самое тяжелое, самое нежное и самое твердое пошло на эти подарки.

Индус написал приветствие на рисовом зернышке, и в другой раз, не сейчас, можно было бы посмотреть под лупой на эти волнистые буквы, похожие на мушиный помет. Китаец вырезал сто девять шаров один в другом, и опять-таки нужна была лупа, чтобы в просветах этих мелких узоров разглядеть самый маленький, внутренний шарик меньше горошины.

Узбечка ткала ковер из своих собственных волос всю жизнь, и с одной стороны он был угольно-черный, а с другой – голубовато-белый. Серединка его была соткана из седеющих, пестровато-серых печальных волос.

– Наверное, она теперь лысая, – прошептала Преображенская.

– Это не имеет значения, узбечки все равно ходят в парандже, – пожала плечом жестокая Алена.

– Это до революции они так ходили, отсталые, – вмешалась Маша Чельшева.

– Отсталая не станет в подарок товарищу Сталину ковер ткать, – защитила почтенную старушку Преображенская.

– А может, она не все волосы в коврик заделала, может, немножко оставила? – с надеждой сказала добрая Багатурия, пощупав свои толстые длинные косы, подвязанные ленточками над ушами.

– А-а, посмотрите! – вдруг ахнула Маша. – Видели?

Но смотреть было особенно не на что: на витрине лежала квадратная тряпочка, на которой был вышит портрет товарища Сталина. Не особенно красиво, крестиком, не очень даже и похоже, хотя, конечно, догадаться можно без труда.

– Ну, видели, – отозвалась Преображенская, – ничего особенного.

– Чего, чего? – забеспокоилась Алена.

– Читай, что написано! – Маша ткнула пальцем в этикетку в витрине. – «Портрет

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru
товарища Сталина вышила ногами безрукая девочка Т. Кольванова».

– Танька Кольванова! – в восхищении прошептала Сонька, едва не теряя сознание от восторга.

– Да вы что, с ума сошли? Какая же Кольванова безрукая? У нее две руки. Да она и руками-то так не вышьет, не то что ногами! – отрезвила их Алена.

– Но здесь же написано Тэ Кольванова! – с надеждой на чудо все не сдавалась Сонька. – Может, у нее сестра есть безрукая?

– Нет, Лидка, ее сестра, в седьмом классе учится, есть у нее руки, – с сожалением сказала Алена. Она зажмурилась, покачала головкой в многодельных плетениях кос и добавила: – Все же спросить надо.

И тут всё двинулось и стройными рядами пошло в другой зал. С одной стороны стояли барабанщики, с другой – горнисты, в середине стояли знаменосцы с распущенными знаменами, и какая-то, наверное самая старшая, пионервожатая громко скомандовала:

– На знамя равняйся! Смирно! Слово предоставляется матери Зои и Шуры Космодемьянских.

Все подровнялись и выпрямились, и тогда вышла вперед невысокая пожилая женщина в синем костюме и рассказала, как Зоя Космодемьянская сначала была пионеркой, а потом подожгла фашистскую конюшню и погибла от рук фашистских захватчиков.

Алена Пшеничникова плакала, хотя она про это давным-давно знала. Всем в эту минуту тоже хотелось поджечь фашистскую конюшню и, может быть, даже погибнуть за Родину.

Потом выступил старичок-общественник и рассказал про первый слет пионеров на стадионе «Динамо», про Маяковского, который читал «Возьмем винтовки новые, на штык флажки», а все пионеры – участники слета весь тот день ездили потом бесплатно на трамвае, а билеты стоили четыре, восемь и одиннадцать копеек.

А потом все хором прочитали торжественное обещание юного пионера и всем повязали галстуки, кроме Сони Преображенской, которая хотя и положила свой галстук в карманчик, но как-то ухитрилась его потерять, и она заплакала. И тогда старшая пионервожатая Нина временно сняла свой галстук и повязала его на шею горько плачущей Соньке, и она утешилась.

Запели «Взвейтесь кострами, синие ночи!» и вышли из зала стройными колоннами, но уже совсем другими людьми, гордыми и готовыми на подвиг.

На следующее утро все пионерки пришли в школу немного пораньше. Третий класс «Б» просто-таки осветился этими четырьмя красными галстуками. Сонька перевязывала его на каждой перемене. Вредная Гайка Оганесян посадила чернильную кляксу на красный уголок, торчащий из-под воротничка впереди сидящей Алены Пшеничниковой, и Алена рыдала всю большую перемену, но перед самым концом перемены к ней подошла Маша Чельшева и сказала ей на ухо:

– А давай спросим у Кольвановой, ну, про ту, безрукую?

Алена оживилась, и они подошли к Таньке Кольвановой, которая сидела на последней парте и рвала на мелкие кусочки розовую промокашку, и спросили без всякой надежды, просто на всякий случай, не знает ли она безрукую девочку Тэ Кольванову.

Кольванова очень смутилась и сказала:

– Какая же она девочка, она большая...

– Твоя сестра?! – взвопили в один голос свежепринятые пионерки.

– Не сестра, так, родня нам, тетя Тома, – потупившись, ответила Кольванова, но видно было, что она мало гордится своей знаменитой теткой.

– Она ногами вышивает? – строго спросила Колыванову Алена.

– Да она все ногами делает, и ест, и пьет, и дерется, – честно сказала Колыванова, но тут прозвенел звонок, и они не договорили.

Весь четвертый урок Алена с Машей сидели как на иголках, посылали записки друг другу и другим членам пионерской организации, а когда урок кончился, они окружили Колыванову и стали ее допрашивать. Колыванова сразу призналась, что тетя Тома и впрямь вышивает ногами и действительно она вышила подарок товарищу Сталину, но это было давно. И что она никакой не герой войны, и руки ей не фашистские пули отстрелили, а что она так родилась, совсем без рук, и живет она в Марьиной Роще, и ехать туда надо трамваем.

– Ну хорошо, иди, – отпустила Алена Колыванову.

Колыванова с радостью тут же улизнула, а пионерская организация в полном составе осталась на свое первое собрание.

Главный вопрос был ясен и сам собой как-то решен: выборы председателя совета отряда. Соня с наслаждением написала на тетрадном листе: «Протокол». Проголосовали. «Все – за», – написала Соня, а ниже приписала: «Алена Пшеничникова».

И Алена, молниеносно облеченная полнотой власти, тут же взяла быка за рога:

– Я думаю, мы должны пригласить на сбор отряда безрукую девочку, ну, эту тетеньку, Тамару Колыванову, пусть она нам расскажет, как она вышивала подарок товарищу Сталину.

– А мне больше понравился... там стоял столик золотенький, вокруг стульчики, а на столике самовар и чашечки, а самовар с краником, и все маленькое-маленькое, малюсенькое... – мечтательно сказала Светлана Багатурия.

– Ты не понимаешь, – печально сказала Алена, – столик, самоварчик – это каждый может сделать. А ты вот ногами, ногами...

Светлане стало стыдно. Действительно, она обольстилась самоварчиком, когда рядом живут герои. Она свела свои раскидистые брови и покраснела. Вообще-то в классе ее уважали: она была отличница, она была приблизительно грузинка, жила в общежитии Высшей партийной школы, где учился ее отец, а Светланой ее называли не просто так, а в честь дочки товарища Сталина.

– Значит, – подвела итог Алена, – дадим Колывановой пионерское поручение, пусть приведет свою тетю Тамару к нам на сбор.

Соня пошарила пухлой ручкой в портфеле и вытянула оттуда яблоко. Откусила и отдала Маше. Маша тоже откусила. Яблоко было невкусное. Смутное недовольство было на душе у Маши. Хотя красный галстук так ярко и свежо свешивал свои длинные уголки на грудь, чего-то не хватало. Чего?

– Может, моего дедушку позвать на сбор? – скромно предложила она. Дедушка ее был настоящий адмирал, и все это знали.

– Отлично, Маша! – обрадовалась Алена. – А ты пиши, Сонь: адмирала Чельшева тоже пригласить на сбор отряда.

Словечко это «тоже» показалось Маше обидным. Тут открылась дверь, пришли дежурные с тряпкой и щеткой, и заседание решили считать закрытым.

Кроткая Колыванова уперлась как коза. Нет и нет – и даже толком не могла объяснить, почему же она не хочет привести свою безрукую тетю на сбор отряда. И упорствовала она до тех пор, пока Сонька не сказала ей:

– Тань, а ты Лидке своей скажи, пусть она попросит тетю.

Танька страшно удивилась: откуда Сонька Преображенская могла знать, что Лидка вечно таскается к тетке? Но поговорить с Лидкой согласилась.

Лидка долго не могла взять в толк, чего это понадобилось третьеклашкам от калеки-тетки, а когда сообразила, захохотала:

– Ой, умру!

В следующее воскресенье она взяла с собой пятилетнего братишку Кольку и поехала к тетке в Марьину Рощу.

Все колывановское семейство жило кое-как, по баракам и общежитиям, одна только Томка жила как человек, имела комнату в кирпичном доме с водопроводом.

Когда к ней пришла Лидка-племянница, она обрадовалась: Лидка попусту к ней не ходила. Как придет, то и постирает, и еду сварит. Хотя ходила она и не совсем за так: Томка ей всегда подбрасывала то трешничек, то пятерочку. Деньги у нее водились, особенно летом.

Разница в годах у тетки и племянницы была не так велика, не более десяти лет, и отношения были у них скорее приятельские.

– Томка, тебя пионерки хотят на сбор позвать, из Танькиного класса, – сообщила ей Лида.

– На что это мне? Еще ходить куда-то. Надо им, сами придут. Да и на что им нужно-то? – удивилась Томка.

– Да хотят, чтобы ты им рассказала, как ты подушечку-то вышивала... – объяснила Лида.

– Ишь, хитрые какие, расскажи да покажи... Пусть приходят, я им и не такое покажу. – Она сидела на тюфяке, почесывая коленом нос. – Только не за так. Бутылочку красного принесут – и покажу, и расскажу.

– Да ты что, Том, откуда у них? – Лидка уже раздела Кольку и копошилась в углу, разбирая грязные тряпки.

– Тогда пусть хоть десяточку принесут. Нет, пятнадцать рублей! Нам, Лид, пригодится! – и она засмеялась, показывая мелкие белые зубы.

Личико у нее было миловидное, курносенькое, только подбородок длинноват, а волосы густые, тяжелые, в крупную волну, как будто от другой женщины.

– Ох и дуры, чего не видели, – крутила она головой, но была в ней гордость, что целая делегация направляется к ней посмотреть, как она ногами управляется. Была у нее такая слабость – хвастлива. Любила людей удивлять. Летом сидела она на своем подоконнике на первом этаже, лицом на улицу, и, зажав иголку между большим пальцем и вторым, вышивала. А народ, проходивший мимо, дивился. А кто подбрее, тот клал на белое блюдечко и денежку.

Томка кивала и говорила:

– Спасибочки, тетенька.

Обычно давали тетеньки.

– А ты, Лидух, сама-то придешь? Ты приходи за компанию, – пригласила она родственницу.

– Приду, – пообещала Лидка.

Решили идти к Колывановой Тамаре на дом. Девять рублей было у Маши, остальные скопили за два дня на завтраках. Почти целую неделю пионерки ходили надутые тайным заговором, как воздушные шарiki легким паром. Почему-то они были совершенно уверены, что не состоящая во Всесоюзной пионерской организации имени Ленина молодежь ничего не должна знать об их серьезной и таинственной жизни.

Гайка Оганесян от любопытства едва не заболела, а Лиля Жижморская была мрачнее тучи, потому что была уверена, что затевается что-то лично против нее.

Тане Колывановой было строго-настрого сказано, что, если она проболтается, ее будут судить. Насчет суда придумала, между прочим, не строгая Алена, а болтушка Сонька Преображенская. Маша, в значительной степени финансировавшая все мероприятие и укрепившая тем самым свои было пошатнувшиеся позиции, приободрилась.

Поход, назначенный на среду, через неделю после торжественного приема, едва не сорвался. Во вторник в класс пришла старшая пионервожатая и сказала, чтобы они не беспокоились: им назначили очень хорошую классную вожатую из шестого «А», Лизу Цыпкину, но она болеет и придет к ним сразу, как только выздоровеет, может, завтра, и сразу поможет наладить им пионерскую работу.

– Так что вы не раскисайте пока, – посоветовала она.

– Мы и не раскисаем, мы уже председателя выбрали, – бодро сообщила Светлана Багатурия.

– Ну и молодцы, – похвалила их Нина Хохлова, сделала пометку в книжечке и ушла.

Девочки переглянулись и без слов поняли друг друга: никакая вожатая Цыпкина им не нужна.

Утром следующего дня они предупредили дома, что вовремя из школы не придут по причине пионерского мероприятия. Все перемены они прятались в уборной на случай, если вдруг Лиза Цыпкина выздоровела и захочет с сегодняшнего дня ими руководить.

После занятия в полном пионерском составе, да еще прихватив с собой беспартийную Колыванову, они скрылись позади школы за угольным сараем в ожидании Лиды, у которой было пять уроков.

Дождавшись Лиду, они пошли кучей на трамвайную остановку. Маша Чельшева зорко поглядывала по сторонам: казалось, что за ними кто-то следит.

За последнюю неделю сильно похолодало, выпал жидкий снежок. Но замерзнуть они не успели, нужный трамвай пришел очень скоро. Народу в нем было немного, так что можно было даже посидеть на желтых деревянных лавочках.

Сестры Колывановы не ощущали ни прелести, ни волнения от этой поездки. Светлана Багатурия, хоть и из другого города, тоже обладала свободой передвижения и даже сама ездила в Пассаж за мелкими покупками. А вот Алена, Маша и Соня впервые ехали в трамвае одни, без взрослых, сами купили себе билеты и расстегнули воротники шуб, чтобы все могли видеть их красные галстуки, знак несомненной самостоятельности.

Марьино Роца оказалась далеким, совершенно безлесным местом, заросшим, если не считать почернелого бурьяна, исключительно сараями, голубятнями и бараками и густо опутанным толстыми веревками с фанерно качающимся бельем.

Уверенность вдруг покинула Алену. Никогда еще не видела она таких безвидных мест, и ей захотелось домой, в нарядный дом в Оружейном переулке, так близко от того дворца, где львы с подмороженными гривами и тощими задами сидят на воротах...

– Выходить, – сказала Лида, и притихшие девочки сгрудились у выхода. Трамвай с долгим звоном остановился, и, делать нечего, все попрыгали с высокой подножки.

Рядом с трамвайной остановкой стояли два двухэтажных кирпичных дома, остальное жилье было деревянным, рассыпающимся, в глубине были видны несколько настоящих деревенских изб с колодцем в придачу. Народу видно не было, только одна согнутая бабка в валенках и большом платке перебежала из дома в дом. Вдруг закричал петух, и тут же откликнулся другой.

– А нам сюда, – с некоторой гордостью Лидка указала на кирпичный дом.

Она открыла парадную дверь, и все вошли в темный коридор. Лампочка горела только на втором этаже, и почти ничего не было видно.

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru

– Туда, туда, – указала Лидка, и все приостановились у второй двери, за которой следовал еще один коридор с поворотом.

– Вот, – сказала Лида, стукнула кулаком в дверь и отворила, не дожидаясь ответа.

Комната была небольшая, длинная, темноватая. Возле окна стоял топчан, на нем лежала как будто большая девочка, покрытая до пояса толстым одеялом. Она села, спустила на пол большие ноги. Платье у нее было как бы с крылышками на плечах, но рук под этими пустыми крылышками не наблюдалось. Когда же она пошла по комнате, оказалось, что она маленькая, тощенькая и напоминает утенка, потому что походка у нее немного валкая, ноги вставлены чуть по бокам, ступни необыкновенно широкие, а пальцы на ногах большие, толстые и широко расставлены.

– Ай! – сказала Светлана Багатурия.

– Ой! – сказала Соня Преображенская.

Остальные молчали. А безрукая женщина сказала:

– Ну, заходите, коли пришли. Чего в дверях топчетесь?

Алена же, вместо того чтобы сказать длинную приготовленную фразу об открытии сбора, сказала скромненько:

– Здравствуйте, тетя Тома.

И в этот момент ей почему-то стало так стыдно, как потом никогда в жизни.

– Иди, Лидка, чайку поставь, – приказала Тома старшей племяннице и с гордостью заметила: – Кран у нас прям на кухне, на колонку не ходим.

– У нас тоже раньше колонка была, – со своим чудесным грузинским акцентом сказала Светлана.

– А ты откуда, черная? Армян, цыган? – добродушно спросила безрукая.

– Грузинка она, – со значением ответила Алена.

– Дело другое, – одобрила Тома. – Ну, чего, – рьяно и весело продолжила она, как будто не желая по этой красивой грузинской ниточке подойти к тому важному и интересному, ради чего они пришли, – к подарку. – А гостинец мне принесли? Давайте сюда, – и она прижала свой длинноватый подбородок к груди, и тут все заметили, что у нее на груди висит мешочек, сшитый из того же зеленого ситца, что и платье.

Испытывая жгучее чувство неправильности жизни, Алена расстегнула замок портфеля, вытащила кучу мятых рублевков и сунула их в шейный мешочек, покраснев так, что даже пот на носу выступил.

– Вот, – бормотнула она. – Пожалуйста, спасибо.

– А вы смотрите, смотрите, раз пришли, – мотнула Томка подбородком в сторону стены. На стене висели вышивки и картинки. На картинках были нарисованы кошки, собаки и петухи.

– А картинки тоже вы? – изумленно спросила Маша.

Тома кивнула.

– Ногами? – глупо поинтересовалась Багатурия.

– А как захочу, – засмеялась Томка, показывая сквозь мелкие зубы длинный, острый на кончике язык. – Захочу – ногами, захочу – ртом.

Она нагнула голову низко к столу, резко мотнула подбородком и подняла лицо от стола. В середине ее улыбающегося рта торчала кисточка. Она быстро перекатила ее во рту из угла в угол, потом села на кровать, подняла, странно вывернув коленный сустав, стопу, и кисточка оказалась зажатой между пальцев ног.

– Могу правой, могу левой, мне все равно. – И она ловко переложила кисточку из одной ноги в другую, высунула язык и совершила им какое-то замысловатое гимнастическое движение.

Девочки переглянулись.

– А вот портрет товарища Сталина вы тоже нарисовать ногой можете? – все пыталась Алена свернуть в нужном направлении.

– Могу, конечно. Но мне больше нравится кошек да петухов рисовать, – увильнула Томка.

– О, кошечка вон та серая прелесть какая, точно как наша, – восхищенно указала Светлана Багатурия на портрет кошки в неправильно-горизонтальную полосу. – Наша Маркиза у бабушки в Сухуми осталась. Я так скучаю без нее!

– А мне петухи... вон тот, пестрый, – сказала младшая Кольванова, от которой никто не ожидал.

– Ишь ты, а раньше не говорила, Танька, – удивилась художница.

– А вы расскажите про подарок, – гребла целеустремленно в свою сторону Алена Пшеничникова.

– Дался тебе этот подарок, – почти рассердилась вдруг Томка.

Но тут вошла Лидка и объявила:

– Том, керосин-то выгорел, нету керосина.

– А и нету, и не надо, – махнула кисточкой, зажатой в пальцах ног, Томка. – Поди-ка сюда. Поближе.

И Томка зашептала что-то секретное Лидке в ухо. Лидка кивнула, сняла с Томкиной шеи мешочек и пошла к двери одеваться.

Усевшись поудобнее, вроде как бы по-турецки, пошевеливая кисточкой, Томка стала рассказывать:

– Значит, так. Про подарок... – Она засмеялась рассыпчатым ехидным смехом. – Труд мой был не напрасный. Вышивала я долго, месяца два, а может, четыре. Василиска-соседка по почте отправила, а я ей наказала, чтоб с возвратным ответом. – И она снова засмеялась, а потом посерьезнела. – Но, честно сказать, не очень-то я рассчитывала, что ответ получу... Но пришел. Бумага большая, печать сверху, печать снизу, благодарственная, из самой канцелярии. Так и написано: Москва, Кремль... Ну, думаю, дорогой товарищ Сталин, не подведи...

Девочки переглянулись. Алена тревожным взглядом смотрела на Машу.

– А жили мы в Нахаловских бараках. Одна стена – чистый лед, а протопят как следует – вода течет, и нас шестеро вот в такой камере. Мать наша – деревня деревней, сестра Маруся – пьянь, рвань, в жопе ветер, да выблядки ее сопливые... – Томка строго посмотрела на обмерших чистеньких девочек. – Ума ни у кого нет, об себе позаботиться не могут, не то что обо мне, безрученькой. А кому Бог ума не дал, то плохо, я скажу. Ну, я эту бумагу в зубы и иду в жилотдел...

Светлана Багатурия подперла кулачком подбородок и даже рот открыла от проникновения. Сонька хлопала глазами, а Маша Чельшева тяжело, со стеснением втягивала в себя дурной воздух и с еще большим стеснением выдыхала.

– Прихожу, а там в кабинет очередь, а я без ничего, дверь ногой открываю и захожу. Они меня увидели, попадали прям. – Она тщеславно хихикнула. – А я на самый большой стол им, – с неприличным звуком она выплонула изо рта воздух, – бумагу выкладываю и говорю: вот, обратите внимание, великий товарищ Сталин, всем народам отец, знает меня поименно, пишет мне, убогой, свое благодарствие за мое ножное усердие, а моя жилплощадь такая, что горшок поставить поссать некуда. Где же ваше-то усердие, уж который раз мы все просим, просим... Теперь я к самому

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
товарищу Сталину жаловаться пойду... Ну, поняли теперь, пионерия? Фатера-то моя,
можно сказать, лично от самого товарища Сталина!

Она покрутила ртом и дернула носом:

– Ничего вы не понимаете, мокрописки. Надевайте ваши польты и дуйте отсюда, –
неожиданно злобно сказала она. Потом слезла со своего тюфяка и запела тонким
громким голосом, подстукивая голыми пятками и подергивая боками: – Огур-чи-ки,
по-ми-дорчики...

Девочки попятились к двери, схватили свои шубки-пальтишки в охапку и высыпались
в коридор. Из-за двери был слышен крик Томки:

– Танька! Танька! Ты-то куда?

Но Таня Колыванова солидарно натягивала свое пальто. Толкаясь, они пробежали по
изогнутому коридору и высыпали, разом протиснувшись в парадную дверь, на улицу.

Было уже совсем темно. Пахло снегом и дымом, деревенские тихие звезды стояли в
небесной черноте. Они побежали к трамвайной остановке и сбились в кучу возле
жестяной таблички. Соньке и Светлане было ничего себе, Маша тяжело дышала, у нее
начинался первый в ее жизни астматический приступ, которых будет потом много, а
Алена роняла частые слезы с густых слипшихся ресниц.

Она была так несчастна, как только можно вообразить, но сама не понимала отчего.

«Противная, противная, обманщица, – думала она. – И товарища Сталина она не
любит...»

– Дома влетит, – сказала бесчувственная Сонька, которой все было хоть бы что.

Две женщины в деревенских полушубках подошли к остановке и встали. Ждать
пришлось на этот раз довольно долго. Наконец вдаль раздался чудесный перезвон и
из-за поворота появился ясноглазый трамвай. Когда они уже влезали в него,
появилась Лидка. Томкино поручение она уже выполнила и неслась вслед за сестрой.

А Томка, с бутылкой в своей шейной котомке, не надевая чунек, поднялась во
второй этаж и постучала голый пяткой в коричневую дверь. Ей не ответили. Тогда
она развернулась, отступила на шаг, ловко просунула ступню в дверную ручку и,
качнувшись, открыла дверь. Внутри было темно, но это было ей не важно.

– Егорыч! – позвала она с порога, но никто не ответил. Она двинулась в глубь
комнаты. В углу лежал матрас, а на матрасе – Егорыч. Она встала на колени: –
Егорыч, ты потрогай, чего я принесла-то. Доставай, что ли... Ну, давай! – торопила
она его.

И Егорыч, почти еще не проснувшись, поднял патлатую голову с большой сальной
подушки, протянул корявую лапу к Томкиной котомочке и добродушным сонным голосом
сказал:

– Тебе только давай... Ну, чего притащила-то?

Он был ее дружок, и она принесла ему дар. Сама-то она выпить немножечко тоже
могла, но по-настоящему пить она не любила. И товарища Сталина, как выяснила
теперь заплаканная Алена Пшеничникова, она тоже по-настоящему не любила...

Чужие дети

Факты были таковы: первой родилась Гаяне, не причинив матери страданий сверх
обычного. Через пятнадцать минут явилась на свет Виктория, произведя два больших
разрыва и множество мелких разрушений в священных вратах, входить в которые
столь сладостно и легко, а выходить – тяжело и болезненно. Столь бурное
появление второго ребенка оказалось полной неожиданностью для опытной акушерки
Елизаветы Яковлевны, и пока она, пытаясь остановить кровотечение до прихода
дежурного хирурга, за которым было послано в другое отделение, накладывала
лигатуры, Виктория крепко кричала, поводя сжатыми кулачками, а Гаяне мирно
спала, словно бы и не заметив своего выхода на хрупкий мостик, переброшенный из
одной бездны в другую.

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru
Невзирая на суматоху, поднявшуюся вокруг роженицы, Елизавета Яковлевна успела отметить про себя, что близнецы однояйцовые, и это не очень хорошо – она держалась того мнения, что однояйцовые близнецы физически слабее разнояйцовых, – а также она обратила внимание на то забавное обстоятельство, что впервые в ее практике близнецы ухитрились родиться в разные дни: первая двадцать второго августа, а вторая – через пятнадцать минут, но уже после полуночи, двадцать третьего...

Пока мать девочек Маргарита, не унижившая себя общепринятыми родильными воплями, плавала в тяжеловодной реке, то выбрасываемая на черный и прочный берег полного беспамятства, то снова увлекаемая в горячие сильные воды с вызывающей тошноту скоростью, девочки неделю за неделей содержались в детской палате и кормились от щедрот чужих сосцов.

К исходу первого месяца, когда мать девочек, перенеся большую операцию, лишившую ее возможности впредь проращивать драгоценные зерна потомства, и последующее заражение крови, вынырнула, вопреки прогнозам врачей, из межуточного состояния и начала медленно поправляться, Эмма Ашотовна, бабушка, забрала девочек домой.

К этому времени ей удалось поменять хорошую работу в управлении на должность бухгалтера в жилищной конторе в соседнем доме, чтобы иметь возможность сбегать среди дня к детям и покормить их.

Дома, впервые распеленав два тугих поленца, выданных ей под расписку в роддоме, и увидев, как запущена их бедная кожа, она заплакала. Виктория, впрочем еще безымянная, тоже заплакала – зло, не по-младенчески, большими слезами. Эти первые общесемейные слезы все и решили: Эмма Ашотовна ужаснулась своей тайной неприязни к новорожденным внучкам, едва не унесшим жизнь ее драгоценной дочери, и пошла на кухню кипятить постное масло, чтобы после купания намазать опрешные складочки.

Уже через несколько дней внимательная Эмма Ашотовна установила, что Виктория – она звала ее про себя «егрорт», по-армянски «вторая», – яростно орет, если бутылочку с молоком подносят сначала ее сестре. Старшая сестра, которую бабушка называла «арачин» – «первая», голоса вообще не подавала.

Лежа валетом в кроватке-качалке, сработанной дворовым столяром дядей Васей, и получая из бабушкиных рук, отяжеленных крупными перстнями и набухшими суставами, теплые бутылочки, они с честным рвением исполняли свой долг перед жизнью: сосали, отрывивали, переваривали, исторгали из себя с удовлетворенным кряхтением желтые творожистые останки трудно добываемого молока.

Они были очень похожи: темные густые волосики обозначали линию низкого и широкого лба, нежный пушок, покрывающий их лица, сгущался в тонкие длинные брови, а верхняя губа, как у матери и бабки, была вырезана лукообразно, и именно в этой крохотной, но явственно заметной выемке и сказывалось семейное и кровное начало. Хотя обе девочки были прехорошенькими, по мнению Эммы Ашотовны, старшая была потоньше и помилостивей.

Следуя известной системе народных суеверий, дополненных и своими собственными, в некотором роде авторскими, Эмма Ашотовна девочек не показывала никому, кроме старой Фени, соседки, много лет помогавшей ей по хозяйству. Однако, пока Феня с указанного ей расстояния рассматривала два сопящих чуда природы, Эмма Ашотовна, причудливо сцепив пальцы, мелко поплевывала на четыре стороны. Это отводило сглаз, к которому особенно чувствительны, как известно, младенцы до года и девственницы на выданье.

Была Эмма Ашотовна человеком оригинальным, со своей системой жизни, в которой равноправно присутствовали строгие нравственные правила, несколько не завершенное высшее образование, набор упомянутых суеверий, а также возведенные в принцип собственные прихоти и капризы, для окружающих, впрочем, вполне безвредные. Так, к последним относился, например, полный отказ от баранины, столь обычной для армянской кухни, несокрушимая вера в целебные свойства листьев айвы, страх перед желтыми цветами и тайное обыкновение перебирать про себя ряды чисел, как другие перебирают четки. Так, с помощью этой своеобразной игры, решала она обыкновенно свои житейские задачи.

Однако теперешняя ее задача была столь сложна, что со своими любимыми числами,

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya.ludmila.ru послушно позвякивающими в ее крупной голове под большими волосами, не могла она к ней подступиться.

Эти детки были долгожданными. Дочь ее Маргарита в очень юном возрасте, не достигнув и восемнадцати, вышла замуж по большой любви не то чтобы против воли родителей – профессора-отца и самой Эммы Ашотовны, представительницы древнего армянского рода, – скорее вопреки их ожиданиям... Избранник Маргариты был крестьянского происхождения, уже в зрелом мужском возрасте. Та армянская глина, из которой он был вылеплен, рано отвердела, и еще в детстве он утратил пластичность. Появление Маргариты в его жизни было тем последним событием, которое завершило окончательную форму его прочного характера.

К новым идеям он всегда был настроен сдержанно, к незнакомым людям – подозрительно, все сложное казалось ему враждебным, и его незаурядный талант инженера вырос, возможно, на свойственном ему от природы желании разрешать все сложности наиболее простым путем.

В жены себе он выбрал Маргариту, когда та гостила с матерью у родственников в горной деревушке, а он, исполняя семейный долг, приехал навестить своего престарелого дядю. Три дня он наблюдал за двенадцатилетней Маргаритой из дядькиного сада, сквозь просветы крупных листьев инжира, и спустя пять лет женился на ней. Она стала богом его жизни, тонкая, нежная Маргарита, с ног до головы покрытая персиковым пушком.

До женитьбы он был честолюбив, хорошо продвигался по службе, имел несколько авторских свидетельств об изобретениях, но брачное счастье было попервоначалу столь ярким, что затмило для него все кальки и синьки мира...

Так прошло несколько лет, и счастье несколько отуманилось: он жаждал детей, но дитя, невзирая на его усердные труды, не завязывалось. Утомительное и бесплодное ожидание сделало его, человека от природы сдержанного, угрюмым, а Маргарита, разделяя тоску мужа по потомству, чувствовала свою неопределенную вину. Миновало уже десять лет их браку, она все была юной и тонкой, похожей на диснеевского олененка, а он постарел, померк, и даже инженерные способности его, столь блестящие смолоду, как-то обмелели.

Незадолго до войны Серго получил назначение на Дальний Восток и выехал на новое место службы. Маргарита должна была следовать за ним через короткое, но неопределенное время. Она уже складывала в коробки накрахмаленное до картонной жесткости белье и заворачивала в мятую газетную бумагу фарфоровые чашечки, когда началась война. Отца Маргариты, Александра Арамовича, крупного востоковеда, знатока десятка мертвых и полумертвых языков, еще задолго предсказавшего эту войну с большой календарной точностью, в домашнем, разумеется, кругу, вечером того несчастного июньского воскресенья разбил паралич. Маргарита никуда не уехала: больше года, окруженный прощальной любовью жены и дочери, полностью лишенный речи, почти недвижимый и с совершенно ясным сознанием, пролежал профессор в своем узком кабинетике, вслушиваясь в тихий треск спасенного от конфискации куска эфира, начиненного немецкой и английской, тоже вполне для него внятной, речью. В конце ноября сорок второго года он скончался.

Через неделю после похорон, когда Маргарита уже собиралась поговорить с Эммой Ашотовной о переезде их к Серго, он, без предварительного извещения, явился сам. За этот год он, как ни странно, помолодел, похудел, стал каким-то собранным и обновленным.

Как выяснилось, он долгое время добивался перевода в действующую армию – на театр военных действий, как старомодно выражался покойный Александр Арамович, – и теперь наконец ехал на фронт.

В печально изменившемся доме, еще полном следов болезни и смерти, он провел чудом доставшуюся ему прощальную ночь, и рано утром Маргарита поехала провожать его в Мытищи, где стоял эшелон. Вернувшись, она легла ничком на кровать, обняла пахнущую резким мужским одеколоном подушку и пролежала так четыре с половиной дня, пока запах окончательно не улетучился.

Мать и дочь принадлежали к одной породе восточных жен, любящих своих мужей страстно, властно и самоотверженно. Они сплотились и жили едиными чувствами печали об ушедшем в тихие поля Александре Арамовиче и тревоги о Серго, ушедшем в

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru смежное, грохочущее железом пространство.

За пять следующих месяцев Маргарита получила от мужа всего три письма, причем каждое с новым номером полевой почты.

К этому времени она знала, что некоторые женские неполадки, которые она сначала относила за счет истощения и малокровия, связаны с приездом ее мужа в тот день и час, когда звезды благоприятствовали зарождению ее дочери. Что будет дочь, Маргарита не сомневалась, что их будет две – не провидела.

Эмма Ашотовна, разделив с дочерью нечаянную радость, зажала ей рукой рот: молчи!

И Маргарита молчала. Лишь в одном из писем она туманно намекнула мужу на новые обстоятельства, но Серго той шифровки не разгадал. Эмме Ашотовне, столь сложно устроенной, однако простодушной, и в голову не приходило, какой глубокой катастрофой чревато суеверное умолчание.

Сообщение о рождении детей Эмма Ашотовна отправила зятю лишь несколько недель спустя после их рождения, когда стало ясно, что жизнь Маргариты вне опасности. В ответ была получена телеграмма странного содержания:

«Примите поздравления новорожденными. Серго».

Едва оправившись, Маргарита написала мужу длинное счастливое письмо, ответ на которое очень сильно задерживался.

Выйдя из больницы, Маргарита начала осваивать роль матери, к которой оказалась не весьма талантлива. Эти две маленькие девочки, стараниями Эммы Ашотовны уже налившись плотью, едва не увлекли ее на тот свет и вызывали теперь чувство страха. Она боялась взять их на руки, уронить, причинить боль. Но подлинная природа страха открывалась лишь в снах, которые она видела почти еженощно. Сны эти были довольно разнообразны, начинались кое-как, с первого попавшегося места, но кончались непременно появлением двух враждебных существ, всегда небольших и симметричных. Они приходили то в виде двух собак, то в виде двух карикатурных фашистов с автоматами, то в виде ползучего растения, разделявшегося надвое.

Отгоняя смутную и сильную тревогу, она училась любить своих детей и напряженно ждала ответного письма от мужа.

А Серго, получив неожиданную телеграмму, погрузился в адский огонь. Тот реальный, физический огонь, следы которого он постоянно обнаруживал на ремонтируемых танках в виде кусков жженого мяса, припекшихся к металлу, словно переместился в его сердце и бушевал теперь в сердцевине костей.

Смолоду он боялся женщин, считал их существами низкими и порочными. Исключение он делал для покойной матери и для жены. Теперь разом рухнула его вера в Маргариту как в существо высшее и безукоризненное.

Все, все, все они... И плоское, лысое, розовое, как блевотина, русское слово произносил он с каким-то садистическим удовлетворением и неистребимым акцентом. «Би-ля-ди» – было это слово. Измена жены была для него несомненна, а мелочными расчетами женских сроков он не занимался.

Бог знает из какой глубины выплыл вдруг образ Маргаритиногo одноклассника, еврейского мальчика Миши, жестоко в нее влюбленного с первого класса и обивавшего ее порог еще в десятом, когда Маргарита уже была невестой Серго. Этому женоподобному тонкорукому скрипачу Серго не придавал тогда никакого значения, хотя и молчаливо раздражался при виде бесконечных маленьких пучков бедных растений, которые Миша постоянно притаскивал Маргарите. Сам Серго дарил своей невесте соответствующие ее достоинству розы.

Теперь этот недомерок вдруг возник в навязчивом образе – обнимающим Маргариту. Нельзя сказать, чтобы он эту картину увидел во сне. Он сам выстроил ее в своем воображении с немислимой достоверностью, и память угодливо подбросила ему реальные подробности в виде коричневой вельветовой курточки с огромной застежкой-молнией на груди и густой россыпи розовых прыщей, сконцентрировавшейся на переносице белого и чистого лица юноши, которого и видел-то он всего один или два раза.

Серго постоянно вызывал это видение, развивая его в разных интересных направлениях и разжигая в себе огонь ревности такой мощности, что вся грохочущая вокруг война, превратившаяся уже в обыденность, тонула в этом огне, как сухая травинка.

Тогда он и отправил домой три дня обдумываемую телеграмму. На письмо, уместившееся на трех четвертях листочка из школьной тетради, исписанного довольно крупным почерком, ушло у него две недели.

В этом долгожданном письме Маргарита прочла, что он рад, что у нее родились дети, но он не хочет быть рогоносцем. Если у нее есть человек, пусть она разводится и выходит за него замуж, а если этот подлец не хочет жениться на матери своих детей, то пусть тогда все останется как есть. Война длинная, он может быть убит, и пусть тогда ее девочки носят честное имя Оганесяна и хоть пенсию на него получают. Все лучше, чем безотцовщина.

Получив письмо, Маргарита снова легла ничком на кровать и обратилась к мужу с длинным монологом, который первое время был бурным и беспорядочным, а со временем превратился в однообразное кольцевое построение: мы так любили друг друга, ты так хотел ребенка, я родила тебе сразу двоих, а ты говоришь, что это не твои дети, но я ни в чем не виновата перед тобой, как же ты можешь мне не верить, ведь мы так любили друг друга, ты так хотел ребенка, я родила тебе сразу двоих...

Потрясенная Эмма Ашотовна, испытывая чувство вины, выстраивала в обратной перспективе две колоннады цифр, кратных тринадцати и девятнадцати, отстраненно отмечала, как они лиловеют и синеют по мере удаления, и нащупывала одновременно ниточку какого-то гениального и сказочного решения, которое смогло бы все вернуть назад, к месту непостижимой ошибки, и все бы организовалось мудро, мирно, ко всеобщей радости.

Но Маргарита с постели не встала. И Эмма Ашотовна начинала свой день с того, что поднимала дочь, вела ее в уборную, в ванную, умывала, поила чаем и укладывала снова в постель.

Со временем она перестроилась: не укладывала, а усаживала Маргариту в кресло, укрыв ноги пледом. На вопросы Маргарита отвечала односложно, с большой неохотой. По шевелению губ, по отдельным, едва слышно произнесенным словам Эмма Ашотовна поняла, что именно повторяет тысячекратно ее дочь, и пыталась вывести Маргариту из ее умственного паралича. Она подносила к ней девочек, укладывала рядом. Маргарита опускала на них свои полупрозрачные пальцы, улыбалась светло и безумно, а губы ее все шевелились, неслышно зывая к жестокосердному мужу.

Уложенные валетом, толсто запеленутые, перегретые, как пирожки в духовке – Эмма Ашотовна больше всего на свете боялась холода, – девочки довольно долго спали в одной кроватке. Мать слабо реагировала на них, отец страдал от одного факта их существования, и только бабушка принимала их как дар небес, любовно и благодарно, стыдясь момента первой неприязни к ним, да еще феня, соседка и помощница, склонялась над ними, улыбаясь совершенно таким же беззубым ртом, как у девочек, и ворковала сладким голосом:

– Агу, агу, агушеньки...

Потом внесли вторую кроватку, и они росли, смотрелись друг в друга, как в зеркало, быстро перенимая все навыки одна от другой, вечно обезьянничая. С нежностью и почти научным интересом Эмма Ашотовна отмечала в них все черты сходства, все штрихи различий: младшая вроде бы ударяется в леворукость, и кожа у нее чуть смуглей, гуще и темней волосы, крупнее кисти рук. Левая ягодица младшей была отмечена родинкой в форме перевернутой трехзубой короны. У Гаяне тоже была родинка, но на правой ягодице, и форма ее была как-то размыта. Зато зубы начинали прорезаться у них всегда в один и тот же день, и с удовольствием ели они одну и ту же пищу, и всегда дружно отказывались от моркови, в каком бы виде она ни попадала на их стол.

В свой срок они начали садиться, вставать на ножки, совершать первые шаги и первые нападения друг на друга.

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Переписка их родителей закончилась тем последним письмом Серго. Далее она развивалась исключительно между Серго и тещей. Эмма Ашотовна, так жестоко ожегшаяся своей привычкой руководить, входя во все детали, жизнью дочери, делала теперь вид, что ничего не произошло, давала зятю точные отчеты о детях и заканчивала свое письмо дежурной фразой: «Состояние Маргариты все то же».

Серго отвечал кратко и официально, имени Маргариты никогда не упоминая, тещу же, несмотря на полное внешнее почтение, он и раньше почитал старой ведьмой.

Пережив адскую полосу ревности, он крепко решил, что вычеркнул недостойную жену из своей жизни. Но оказалось, что он и себя как будто вычеркнул из списка живых. Вероятно, тем самым и обманул смерть. Она его не замечала. Участник всех больших танковых сражений войны, от Курского до боя на Зееловских высотах, он ставил на ход подбитые танки, не раз выводил из окружения отремонтированные им машины – однажды в отступлении он остался чинить подбитый танк в жидком скверике отданного города и вывел его ночью, когда город был полон немцами.

Много раз он просил перевести его в боевой расчет, поближе к смерти. Все напрасно. И ветерок пули не пролетел мимо его широкого низкого лба.

– Заговорен, – говорил его друг Филиппов...

Кончилась война. Была объявлена победа. И этот день был для Эммы Ашотовны днем горестных воспоминаний о том несчастнейшем из дней, когда рухнул на пол муж – и уж больше не встал, и о последнем приезде Серго и всей той ужасной нелепости, которую он натворил после рождения детей.

Эмма Ашотовна сообщила Маргарите о конце войны. Она слабо кивнула головой:

– Да, да...

– Теперь Серго вернется, – неуверенно сказала Эмма Ашотовна.

– Да, да, – безразлично проговорила Маргарита, увлеченная, как всегда, непрерывным разговором с отсутствующим мужем.

..Была середина июля, раннее утро. Он приехал в Москву ночью и несколько часов провел перед домом, где прошли самые счастливые годы его жизни. Он не мог решить, войти ли в этот дом или сразу ехать дальше, в Ереван, к братьям, сестрам, народившимся новым племянникам. В болезнь Маргариты он никогда не верил и смертельно боялся, что на его звонок ему откроет дверь скрипач Миша, и тогда он убьет этого недоноска, убьет к чертям собачьим, просто задушит руками.

Серго хрупал своими непревзойденно белыми зубами и кидался прочь от этого проклятого дома. Выходил к Никитским воротам, сворачивал на Спиридоновку, делал круг и снова возвращался к милому дому в Мерзляковском переулке.

В начале седьмого он окончательно решил уезжать, бросил прощальный взгляд на свое бывшее окно во втором этаже и увидел, как раздвинулись знакомые занавески, и узнал руку тещи в тусклых перстнях.

Он вошел в парадное и едва не потерял сознание от запаха стен – как если бы это был запах родного тела. Поднялся на второй этаж, позвонил четыре раза, и Эмма Ашотовна, как будто нарочно стоявшая возле двери, немедленно открыла ему. Она была одета, причесана, в руках держала маленькую медную кастрюльку. Он машинально поцеловал тещу и прошел в комнату. Она была по-прежнему разделена натрое: передняя отгороженная часть, столовая без окон, и два небольших купе с подвижными дверями, с квадратным окном в каждом из отсеков. Левая комнатка была когда-то кабинетом тестя, правую занимали они с Маргаритой. Он тронул дверь, она отъехала по узкой рельсе – изобретение покойного Александра Арамовича. Маргариты там не было.

Одна черноглазая девочка жевала, сидя в кровати, уголок пододеяльника, вторая стояла в кровати и возила по ее бортику плюшевого зайца. Виктория выплюнула недожеванный пододеяльник и уставилась с интересом на мужчину. Гаяне отчаянно закричала и бросила зайца. Вика подумала и ударила его толстой ручкой по груди.

– Дядька плохой! – объявила она. – Уходи!

Серго задом протиснулся в столовую, где Эмма Ашотовна умоляюще махала руками:

– Сережа, они привыкнут, привыкнут... Испугались... Мужчин никогда не видели...

А Серго уже отодвигал вторую дверь-заслонку, где ждал увидеть что угодно, но не это... Бледненькая Маргарита, похожая на газель еще больше, чем во времена юности, с полуседой головой, посмотрела на него рассеянным взглядом и закрыла глаза. Она разговаривала со своим мужем и не хотела отвлекаться.

– Марго, – позвал он тихо. – Это я.

Она открыла глаза и сказала тихо и внятно:

– Хорошо. – И отвернулась.

– Больная. Совсем больная, – поверил он наконец... Опустив покрасневшие глаза, зажав лоб широкими кистями, которые еще несколько лет будут издавать военный запах металлической гари, он молча сидел у стола.

Эмма Ашотовна металась между орущими внучками, безучастной дочерью и безмолвным зятем. Она сверкала крупными камнями на изработанных руках, шуршала старым шелковым платьем павлиньего цвета и говорила красивым низким голосом с гортанными, никогда не исчезающими у армян звуками, говорила торжественно и одновременно обыденно:

– Ты пришел, Серго. Ты пришел. Столько полегло, а ты пришел. Имя твое три года не сходило с ее уст, днем и ночью. Вот такую свечу за тебя держала перед Господом. Детки твои, и они, две свечечки, были за тебя...

Серго не отнимал рук ото лба. Жена его была изменница и «биядь», хотя и больная. Дети – чужие. Но чугунные небеса, которые он носил на своих окаменевших плечах, дрогнули.

А Эмма Ашотовна почуяла это движение и поняла, что вся их жизнь решается в эту минуту и все зависит от того, сможет ли она сказать сейчас все правильно и с добром. Весь черный комок гнева и ярости, который собрался в ней за эти годы против Серго, она, как ей казалось, собрала в левую руку и крепко сжала его в горсти...

Вершинную минуту переживала она. Впервые в жизни остро чувствовала она, что ей не хватает ума, знания жизни, красноречия, и она молила о помощи.

«Господи, сделай так! Господи, сделай!» – отчаянно кричала ее душа, но она продолжала говорить с лицом спокойным и радостным:

– Твой дом ждал тебя, Серго... Вот чашка твоя, смотри... Маргарита не велела трогать... Книги твои и тетради старые стоят как стояли... Дождались мы, дождалась тебя... Только Александра Арамовича нет с нами... Дети твои дождалась тебя, Серго. Я знаю, она теперь встанет...

Плакали за дверью дети. За другой лежала его больная жена. Теща говорила слова, которых он почти и не слышал. Горькие, тяжелые небеса трескались, двигались, опадали кусками. Гулкая боль шла от сердца по всему телу – как будто с него спадали запекшиеся черные куски окалины, – и в этой боли была сладость освобождения от многолетней муки. Эти чужие дети плакали. Их плач касался свежих разломов его сердца и отзывался на них. Он принимал этих чужих детей, рожденных в преступной связи его жены бог знает с кем, может, и не с тем музыкантом.

Он оторвал ладони ото лба, встал монументально – он был крупный человек – и, кавказским торжественным движением отведя руку в сторону, спросил:

– Мама, почему дети плачут? Идите к ним!

К вечеру у Эммы Ашотовны страшно разболелись пальцы левой руки, три средних, исключая мизинец и большой. Всю ночь рука горела, к утру пальцы распухли и поднялась температура. Несколько дней она страшно мучилась. В дни болезни – к слову сказать, первой болезни с довоенного времени – она едва только могла

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru помочь Маргарите, а Серго возился с девочками, которые не только быстро его приняли, но привязались и даже по-женски соперничали за его внимание. Он кормил их, передевал, сажал на горшок. Душа его стонала от счастья при каждом прикосновении к этим смуглым чудесным щечкам, чуть влажным кудряшкам, игрушечным пальчикам.

Эмме Ашотовне поставили диагноз – множественный панариций. Сама-то она знала, что через эти нарывы уходило из нее то зло, которое накопила она на своего дурака зятя. Однако, когда нарывы созрели, их вскрыли и все быстро зажило, она еще недели две не снимала повязки с пальцев – для укрепления любви между Серго и девочками.

Вынимая их по вечерам из большого жестяного таза, касаясь их телец через махровое полотенце, он испытывал острое наслаждение. Он не обращал внимания на чайного цвета родинки, украшавшие детские ягодицы. И единственным человеком, который мог бы ткнуть его в плоский зад в самую середину родинки в виде перевернутой короны, была его бедная жена Маргарита, которая все сидела в своем кресле и разговаривала с мужем, которого она так любила.

Подкидыш

Теперешняя наука утверждает, что эмоциональная жизнь человека начинается еще во внутриутробном существовании, и весьма древние источники тоже косвенным образом на это указывают: сыновья Ревекки, как говорит Книга Бытия, еще в материнской утробе стали биться.

Никто и никогда не узнает, в какой именно момент – пренатальной или постнатальной жизни – Виктория впервые испытала раздражение к своей сестре Гаяне.

Мелкие младенческие ссоры можно было бы не брать в расчет, но пронизательная бабушка Эмма Ашотовна очень рано отметила разницу в характере близнецов и по благородной склонности натуры всегда прикрывала своим распушенным крылом ту, у которой и ножки, и румянец были потоньше. Что совсем не мешало ей другой раз любоваться добротной плотностью второй внучки.

Отец млеял от обеих. Детский же плач был для него столь мучительным испытанием, что он змеиным броском хватал в душные объятия рыдающего от обиды ребенка, а именно Гаяне, и готов был мычать теленочком, блеять овечкой и кукарекать петушком одновременно, только бы поскорее утешилось дитя.

Умненькая Виктория рано осознала, что бурный любовный дуэт, происходящий между отцом и всхлипывающей сестрой, сильно портит удовольствие, получаемое от притеснений Гаяне, и в присутствии отца задирать сестру она перестала.

Справедливости ради надо отметить, что самым грозным наказанием для Виктории было как раз их разделение по разным углам. Когда Гаяне уводили в комнату к матери и плотно задвигали за ней дверь, катающуюся, для экономии жилого места, по узкой железной колее, Виктория с горестным лицом садилась возле домашней одноколейки и часами, в вокзальном ожидании, высиживала себе прощение.

Мать не вмешивалась в отношения девочек и вообще ни во что не вмешивалась. Она играла в доме роль верховного божества – сидела в узенькой комнате, в высоком кресле, с большой, отливающей серебром корзиной из кос, которые по утрам долго расчесывала бабушка. Дважды в день девочки приходили говорить ей «Доброе утро, мамочка» и «Спокойной ночи, мамочка», а она слабо улыбалась им вырезной губой.

Иногда бабушка приводила их поиграть на ковре возле ее тонких ног, обутых в толстые вязаные носки коврового же рисунка, но, когда девочки начинали ссориться и плакать, мать пугливо морщилась и зажимала уши.

Лет до трех посягательства Виктории ограничивались сугубо материальной сферой: она отнимала у сестры игрушки, конфеты, носочки и платочки. Гаяне посылно сопротивлялась и горько обижалась. По четвертому году произошло событие, на первый взгляд незначительное, но ознаменовавшее более высокий уровень притязаний Виктории. В дом, по случаю простуды девочек, был приглашен старый доктор Юлий Соломонович, из породы врачей, вымерших приблизительно в те же времена, что и стеллерова корова. Присутствие таких врачей успокаивает, звук голоса снижает температуру, а в их искусство, иногда и для них самих неведомо, замешена капля

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
древнего колдовства.

Ритуал посещения Юлия Соломоновича был установлен еще во времена детства Маргариты. Как это ни странно, и в этом, вероятно, тоже сказывалось какое-то колдовство, уже тогда был он очень старым доктором.

Сначала его поили чаем, непременно в присутствии пациента. Эмма Ашотовна, как тридцать лет тому назад, внесла на подносе стакан в просторном подстаканнике, два чайничка и плетеную корзинку с ореховым печеньем. Он тихо беседовал с Эммой Ашотовной, звякал ложечкой, хвалил печенье и как будто совершенно не обращал внимания на девочек. Потом Эмма Ашотовна внесла тазик, кувшин с теплой водой и непомерно длинное полотенце. Доктор долго, как будто перед хирургической операцией, тер розовые руки, потом старательно вытирал растопыренные пальцы. К этому времени девочки уже не сводили с него глаз.

Широким и роскошным движением он надел жестко сложенный хрустящий белый халат и повесил на широкую плоскую грудь каучуковые трубочки с металлическими ягодами наконечников. Золотая оправа его очков сверкала в бурых бровях, а лысина немного отливала рыжим сиянием давно не существующих волос. Девочки, совсем о том не догадываясь, давно уже перевоплотились в зрительниц, сидели в первом ряду партера и наслаждались высоким театральным зрелищем.

– Так как же зовут наших барышень? – вежливо спросил он, склонившись над ними.

Он каждый раз задавал этот вопрос, но они были так малы, что свежесть этого вопроса еще не износилась.

– Гаяне, – ответила робкая Гаяне, и он поболтал на своей шершавой ладони ее невесомую руку.

– Гаяне, Гаяне, прекрасно, – восхитился доктор. – А вас, милая барышня? – обратился он к Виктории.

Виктория подумала. О чем – сам Фрейд не догадается. И ответила коварно:

– Гаяне.

Истинная Гаяне оскорбленно и тихо заплакала:

– Я, я Гаяне...

Доктор в задумчивости почесывал глянцевый подбородок. Он-то знал, как сложно устроены самые маленькие существа, и решал в уме непростую задачу собственного умаления.

Виктория глядела победоносно: не мишку плюшевого, не зайчика тряпичного – ей удалось захватить самое имя сестры, и она торжествовала невиданную победу.

– Так, так, так, – протикал доктор медленно. – Гаяне... прекрасно... – Он смотрел то на одну, то на другую, а потом грустно и серьезно обратился к похитительнице: – А где же Виктория? Виктории нет?

Виктория засопела заложенным носом: ей хотелось быть одновременно и Викторией, и Гаяне, но так запросто отречься от имени, собственного или чужого, тоже было невозможно.

– Я Виктория, – вздохнула она наконец, и Гаяне тут же утешилась.

И пока они переживали неудавшуюся попытку похищения имени, обе были обслушаны, обстуканы твердыми пальцами и прошупаны по всем лимфатическим железам улыбающимся плотно сомкнутыми губами стариком.

Эмма Ашотовна любовалась артистическими движениями врача и радовалась его редкой улыбке, ошибочно отнеся ее за счет неземного обаяния внучек. Она ошибалась: он улыбался своему подслеповатому праотцу, обманутому некогда сыновьями именно этим способом и на этом самом скользком мифологическом перекрестке.

Драма с переименованием с тех пор разыгрывалась довольно регулярно на Тверском
Страница 17

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru бульваре, куда домработница Феня водила девочек гулять. У Фени была маленькая слабость: она до умопомрачения любила завязывать знакомства. Хотя большинство прогулочных бабушек, нянь и детей были ей знакомы, она почти каждый день ухитрялась пополнять свою светскую коллекцию. Возможно, это пристрастие Феня получила в наследство от своей матери, взятой когда-то кормилицей в богатый купеческий дом, прослужившей там до самой смерти и Феню вырастившей под крылом добрых хозяев. А может, тень Иогеля, танцмейстера и светского сводника, жившего когда-то здесь, по левую руку от черного, в голубиных разводах Пушкина, еще витала под липами Тверского бульвара и благословляла знакомства няnek и их воспитанников. Так или иначе, гордая Феня постоянно объявляла Эмме Ашотовне о своих успехах:

– Сегодня с новыми детьми гуляли, с адмираловыми!

Или:

– Двух девочек сегодня привели, вроде наших, но погодки, вертлинские девчонки, актеровы, – сваливала она невзначай в одну кучу происхождение, фамилию и склонности характера.

Но при этом – чего Феня не знала – каждое новое знакомство с детьми сопровождалось неизменной маленькой сценкой: Виктория называла себя именем сестры, а Гаяне, надувшись и покраснев, никак себя не называла, поэтому половина детей обеих сестер называла именем Гаяне.

Феня не придавала никакого значения этим психологическим штучкам. Помимо светских у нее были и другие крупные задачи: не допустить нарядно одетых воспитанниц в грязную песочницу или вовсе в лужу, смотреть, чтобы не упали, не расшиблись, не бегали до поту. Таким образом заботливая Феня обрекала их на развлечения исключительно вербального характера.

В своем маленьком кружке привилегированных детей Виктория славилась как рассказчица перевернутых сказок и самодельных историй, Гаяне же была наблюдательной молчаливицей, памятливой на чужие бантики, брошки, незначительные события и оброненные слова. Ее любимым развлечением лет до десяти было устройство «секретиков» – уложенных под осколком стекла листьев, цветков, конфетных оберток и обрывков фольги. Даже летом, на даче, где у девочек было гораздо больше свободы, Гаяне предпочитала именно это одиночное и сидячее развлечение, в то время как Вика каталась на велосипеде, качалась на качелях и играла в мяч с хорошими, с точки зрения Фени, детьми из соседних дач.

Здесь же, на кратовской даче, в последнее предшкольное лето Гаяне подверглась первому серьезному испытанию. В поселке появились цыгане. Сначала на широкий перекресток двух главных улиц, куда прикатывала обычно бочка с керосином и местные старухи продавали тугие пучки белоносой редиски и колючие, как кактусы, огурчики, пришли четыре цыганки с десятком вертлявых жукастых детей, а потом приехал в телеге, запряженной классической цыганской лошастью, классически хромой цыган в огромном пиджаке, забитом орденскими колодками чуть не до пояса.

Никаких ковровых кибиток и шелковых рубах не наблюдалось. Не было и положенной красавицы среди потрепанных смуглых женщин неопределенного возраста. Более того, одна из них была определенно безобразной старухой. Переночевали они прямо на перекрестке – на телеге или под телегой, никто не видел. Феня, утром бегавшая за молоком, рассказала о них Эмме Ашотовне, и та запретила девочкам одним выходить за калитку.

– Они детей крадут, – шепнула Виктория сестре, и, пока та обдумывала эту новую опасность жизни, Виктория уже спустила с поводка свое воображение: – В нашем поселке уже двоих украли!

Цыганки меж тем занимались своим обычным ремеслом: останавливали прохожих, чтобы всучить им какие-нибудь интересные сведения из прошлой или из будущей жизни в обмен на мятый рубль.

Бизнес их шел ни шатко ни валко, и к полудню они предприняли вылазку – пошли по дачам. Девочки с утра сидели на участке у Карасиков, выходящем прямо на перекресток, и через редкий забор отлично было видно, как цыганенок играл кнутом, а хромой мужик ругал его на непонятном языке. К забору Гаяне подходить

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya@ludmila.ru боялась, зато смелая Виктория висела на калитке и дерзко пялилась на чужую и такую незаконную жизнь.

В обед пришла Эмма Ашотовна и повела их домой. Цыганки помоложе к этому времени разбрелись, и табор был представлен стреноженной лошадей, пасущейся вдоль улицы на случайной траве, спящим под телегой цыганом да старухой. Размахивая многоцветной одеждой, она преградила путь Эмме Ашотовне и запричитала:

– Ой, что вижу, что вижу... Ой, смотри, беда идет... Дай руку, посмотрю...

Эмма Ашотовна брезгливо отодвинула цыганку высокомерной рукой в больших перстнях со старыми кораллами, точно такими же, что и на сухой грязной руке цыганки, и сверкнула на нее сильными темными глазами. Цыганку как ветром сдуло, и только вслед она крикнула:

– Иди, иди своей дорогой, вода твоя соленая, еда твоя горькая...

Виктория храбро показала цыганке длинный малиновый язык, за что тут же и получила жестким бабушкиным пальцем по маковке, а Гаяне крепко схватилась за шелковый подол бабушкиного нового платья, крупные белые горохи которого были на ощупь заметно жестче, чем небесно-синее поле.

Победали девочки на террасе, а потом бабушка разрешила им из-за жары спать в беседке, а не в доме. Феня раскинула им раскладушки и ушла, и тогда Виктория сообщила сестре тайную вещь: оказывается, старуха цыганка – настоящая колдунья и может превращаться в кого захочет и детей превращать – в кого захочет. И лошадка их стреноженная на самом деле была не лошадкой, а двумя украденными мальчиками, Витей и Шуриком, которых давно уже разыскивают родители, да никогда не найдут...

Они разговаривали шепотом.

– Если она захочет, может в бабушку превратиться...

– В нашу бабушку? – ужаснулась Гаяне.

– Ага. А захочет, так в папу... – пугала Вика. – Вон, посмотри, ходят... – и она махнула рукой в сторону дачной ограды... Интересный план созрел в ее умной головке.

Июнь был в самом начале. Толстые маслянистые кисти сирени лезли в беседку и пахли так сильно, как горячее кушанье на тарелке. Шмель тянул басовито и замедленно, и цикады отзывались скрипичными голосами из нагретой травы. Жизнь была такая молодая и такая страшная.

– Ты не бойся, Гайка, – пожалела Виктория испуганную сестру. – Я тебя спрячу.

– Куда? – спросила Гаяне безнадежным голосом.

– В дровяной сарай. Они тебя там ни за что не найдут, – успокоила ее Вика.

– А ты как же?

– А я ее палкой ударю! – грозно сказала Виктория, и Гаяне в этом не усомнилась. Ударит.

Босиком, в одних ситцевых трусиках с большими карманами на животе, они прокрались к дровяному сараю. Виктория отодвинула щеколду и пропустила сестру внутрь.

– Сиди здесь и не выглядывай. А когда они уйдут, я тебя выпущу.

Щеколда щелкнула снаружи. Гаяне успокоилась: теперь она была в безопасности.

Виктория проскользнула обратно в беседку, укрылась с головой простыней. Она представила себе, как страшно сейчас глупой Гайке, и ей тоже стало немного страшно. Но и смешно. Так, с улыбкой, она и уснула.

Эмма Ашотовна разбудила ее в шестом часу и спросила, где Гаяне. Виктория не

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru сразу вспомнила, а вспомнив, забеспокоилась. Еще больше забеспокоилась бабушка – заметалась по их большому участку, первым делом побежала к уборной, куда ходить девочкам запрещалось, потом к малиннику, потом вниз, под горку, в совсем запущенную часть участка, огороженную ветхим штакетником. Девочки нигде не было.

– Гаяне! Гаяне! – кричала Эмма Ашотовна, но никто не отзывался.

Длинный крик, звук имени, со звуковой вмятиной в начале и широким хвостом в конце, безответно впитывался свежей листвой, не набравшей еще настоящей силы.

Это были первые жаркие дни, когда начинала возгоняться смола и над землей собирался, после весенних хлопот поспешного прорастания всяческих трав и листочков, первый летний покой, и крики Эммы Ашотовны как-то неприлично нарушали все благочиние дня, склонявшегося к вечеру.

Виктория подползла к деревянному сараю и отодвинула щеколду.

– Выходи! – громко зашептала она внутрь. – Выходи, бабушка зовет!

Гаяне сидела между старой бочкой и поленницей, вжавшись в стену одеревеневшей спиной. Глаза ее были открыты, но Виктории она не видела. И не видевшая ее лица Виктория это поняла. Ей стало не по себе. Гаяне же, пережив страх столь огромный, что он не мог вместиться в ее семилетнее тело, находилась теперь за его неведомым пределом.

Засунутая сестрой в душную полутьму сарая, Гаяне сначала вроде бы задремала, но, выйдя из дремы от какого-то скрытного движения около виска, она вдруг обнаружила себя в совершенно незнакомом месте: огненно-желтые световые штрихи прорезали пространство со всех сторон, как если бы она была заключена в светящуюся клетку, слегка раскачивающуюся в серо-коричневой тьме. Бедной Гаяне показалось, что она уже украдена каким-то сверхъестественным способом, вместе с сараем, поленницей из березовых кругляшей, с бочками, старой железной кроватью, вставшей на дыбы, и кучей садового инструмента, которым после смерти деда никто не пользовался. И украдена жестоко, вместе со временем, растянувшимся, как ослабшая резинка, и утратившим начало и конец. И это движение, воздушно пробегающее возле виска, тоже имело отношение к тому, что обычное время рассыпалось и куда-то делось, а это новое движется вместе с ней по тошнотворному обратному кругу.

«Даже хуже, чем украли, – подумала Гаяне, – меня забыли в каком-то страшном месте».

Кончик носа онемел от ужаса, ледяные мурашки ползли по спине, и темный водоворот медленно поднимал ее, и кружил, и нес в такую глубину, что она догадалась, что умирает.

– Гаяне! Гаяне! – звал ее издали громкий переливчатый голос, похожий на бабушкин, но она понимала, что это не бабушка ее зовет и даже не цыганка, превратившаяся в бабушку, а кто-то другой, еще более страшный и нечеловеческий...

– Гайка, выходи! – слышала она настойчивый шепот сестры. – Ушли цыгане, ушли. Тебя бабушка ищет!

Страшное место обратилось в сарай. Узкие лучи света пробивались сквозь щели между досками, и все было так просто и счастливо на кратковременной даче, и бабушка в синем горохе платье уже шла к сараю, чтобы найти наконец пропавшую внучку, а Гаяне, медленно приходя в себя, удивлялась малости и милости здешнего мира в сравнении с бездонностью и огромностью, нахлынувшими на нее здесь, в деревянном сарае, в начале лета, на седьмом году жизни...

Она кинулась к сестре с криком: «Вика! Вика! Не уходи!» – и обхватила ее руками. Виктория гладила ее по холодной спине, целовала жесткие косы, ухо, плечо и шептала:

– Ты что, ты что, Гаечка! Не бойся! – и ей казалось в этот миг, что она действительно защищает свою милую и пугливую сестру от опасности, притаившейся за воротами...

С этого самого дня, так остро запомнившегося Гаяне и совершенно забытого

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru Викторией, в Гаяне проснулась необыкновенная чуткость ко всему темному и тревожному. Это было особое чувство тьмы, и она испытывала его, даже открывая дверцу платяного шкафа. Там, в темноте, где отсутствовал свет, было еще что-то, словами не называемое, открывшееся ей когда-то во тьме дровяного сарая. Даже такая маленькая и уютная тьма, которая образовывалась в задвинутом скользящей крышечкой пенале, и та вызывала подозрение. Хотя и смутное, но родственное чувство она испытывала, подходя к больной матери. Материнская болезнь представлялась ей тоже сгустком темноты, и она могла бы даже очертить ту область головы, шеи и груди, где тьма, по ее ощущению, сгущалась.

Угаданный Викторией страх сестры побуждал ее к жестоким шуткам – она прятала тетради сестры в самые недоступные уголки квартиры, заставляя ее тем самым залезать в самые темные щели; засовывала в опасное темное пространство пенала дохлого жука, чтобы населить неопределенность ужасной действительностью. А когда Гаяне взвизгивала, отбрасывая пенал, Виктория спасала ее, прижимая к себе и улыбаясь снисходительно:

– Ты что, дурочка, чего боишься-то?

Виктории доставляла удовольствие власть над страхами сестры: взаимная любовь в эти мгновения утешения была так велика, а сами они были в ту пору еще слишком малы, чтобы знать, какие опасные и враждебные примеси здесь поднимаются.

Эмма Ашотовна, уязвленная трагической любовью и болезнью своей дочери и понимавшая кое-что в безумии и жестокости любви, совсем не интересовалась отношениями девочек и природой их взаимной привязанности. Эмма Ашотовна была единственным в семье человеком, обладающим достаточной чуткостью и способной в этом разобраться, но она выстроила строгую и глубоко восточную иерархию: если речь не шла о смерти, то главным событием жизни она считала обед, а уж никак не ссоры и перемирия в детском стане.

Эмма Ашотовна торопливо сбрасывала с плеч хлопотливое утро с долгим расчесыванием четырех длинногривых голов: ее собственной, дочерней и внучкиных, плетением темных кос и одеванием всех в пахнущее чугуном перегретым утюгом белье, скорый небрежный завтрак, малую уборку и приступала к приготовлению обеда, со всеми его печеными баклажанами, фаршированными помидорами, острой фасолью и пресным хлебом.

Хотя она была родом из богатой армянской семьи, детство и юность она прожила в Тифлисе, и кухня ее была скорее грузинская, более сложная и разнообразная, чем принято в Армении. Она вела счет орехам и яйцам, зернышкам кориандра и горошинам перца, а руки ее тем временем совершенно независимо делали мелкие и точные движения, и она наслаждалась стряпней, как музыкант наслаждается музыкой, рождающейся от его пальцев.

Обычно в половине седьмого приходил с работы Серго. Стол был уже накрыт и полыхал запахами. Серго мыл руки и выводил жену к столу. Она шла мелкими шагами заводной куклы и слабо улыбалась. Комната эта была сумеречная, безоконная, освещена желтящим электрическим светом, и лицо ее приобретало оттенок старого фарфора. Ее усаживали в кресло рядом с мужем. Девочки сидели по обе стороны от родителей, но по длинной стороне стола. В другом торце восседала Эмма Ашотовна, и Феня, открыв коленом дверь, вносила розовую супницу, размер которой значительно превосходил потребности семьи. Поставив супницу возле левого локтя хозяйки, Феня исчезала – она обедала на кухне и ни за что не согласилась бы сидеть за этим парадным господским столом, где тарелки сменяли чуть ли не три раза, а еду накладывали по маленькой ложечке.

На доньшко Маргаритиной тарелки наливали немного супу, она брала в тонкую руку тонкую ложку и медленно опускала ее в тарелку. Трапеза эта была чисто символическая – ела она только по ночам, в одиночестве: два куска черного хлеба с сыром и яблоко. Всякую другую еду – с первого года ее болезни, когда мать все пыталась накормить ее чем-нибудь более питательным, – брала в рот и не проглатывала.

В этот вечер, как обычно, Эмма Ашотовна отнесла на кухню посуду и, надев грязные очки и чистый фартук, приступила к мытью. Это была ее поблажка Фене, которая блюла свою честь перед соседками и не уставала им напоминать:

– Я не кухарка, я детей подымаю.

Серго отвел Маргариту в комнату и сел возле старого приемника покрутить его ребристые ручки.

Оставаясь наедине с женой, Серго разговаривал. Нельзя сказать, чтобы с ней. Но и не совсем сам с собой. Это был странный разговор двух безумий: Маргарита бессловесно обращалась к своему любимому мужу с давно заржавелым укором, почти не замечая грузного седого человека, в которого превратился Серго за годы ее болезни, а он, пересказывая и комментируя вечерние радиопередачи, безнадежно пытался с помощью этого зыбкого звукового моста пробиться к Маргарите теперешней, но все еще сосредоточенной на давнем несчастном событии. Они упирались друг в друга глазами, не совпадая во времени на десятилетие, и продолжали свой дикий диалог.

– Где Гаяне? – неожиданно внятно спросила Маргарита.

– Гаяне? – Серго как будто на полном ходу врезался в фонарный столб. – Гаяне? – переспросил он, ошеломленный тем, что впервые за многие годы жена задала ему вопрос. – Они учат уроки, – тихо ответил он Маргарите, беря ее за руку. Рука была как стеклянная, только что не звенела.

– Где Гаяне? – настойчиво переспросила Маргарита. Серго встал и заглянул за перегородку. Виктория сидела к нему спиной и скрипела ручкой. Почерк у нее был с большим нажимом, чреватый кляксами, и, когда она писала, локоть ее так и ходил.

– А где Гаяне? – спросил отец.

Виктория дернула плечом, и чернильная слеза вытекла из-под пера.

– Откуда я знаю! Я ее не сторожу, – не оборачиваясь ответила Виктория.

Виктория не цитировала. Просто вся ее маленькая жизнь намеревалась стать цитатой и, блуждая, не находила контекста.

Серго, взбудораженный обращением к нему жены, машинально искал по квартире Гаяне. Он вышел в общий коридор, зашел в его слепой отросток, дернул дверь уборной, но там как раз никого не было. Прошел на кухню, где Эмма Ашотовна терла сверкающие спинки тарелок, и в недоумении сказал теще:

– Маргарита спросила, где Гаяне.

Эмма Ашотовна остановилась, как будто у нее завод кончился:

– Маргарита тебя спросила...

– ...где Гаяне... – закончил он.

Она бережно поставила тарелку и, всколыхнувшись грудью и боками, почти побежала к дочери. Отодвинув до упора дверку в ее комнату, с порога она спросила:

– Маргарита, как ты себя чувствуешь?

– Хорошо, мама, – тихо, не шевеля даже ресницами, ответила Маргарита. – А где Гаяне? – снова спросила она, и до Эммы Ашотовны дошел наконец смысл вопроса.

Гаяне не было. Более того, на вешалке не было ее новой кошачьей шубки, а под вешалкой не было маленьких ботинок с фальшиво-барашковой оторочкой. Опустевшие, бессодержательные галоши стояли одиноко, каждая в своей подсыхающей лужице.

– А где Гаяне, вика? – спросила бабушка.

– Откуда я знаю... Мы сидели, сидели, а потом она ушла, – ответила Виктория.

– Давно? Куда? Почему же ты не спросила? – взорвалась целым веером вопросов бабушка.

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya@ludmila.ru
– Да не знаю я. Не видела. Минут десять или сорок. Откуда я знаю... – все еще не отрываясь от тетради, ответила девочка. С фальшивым увлечением она рисовала на обложке тетради большую чернильную картинку.

Эмма Ашотовна кинулась к фене, но на двери ее комнаты, выходящей в коридор, висел железный калач замка: была суббота, феня еще не вернулась от всеобщей.

Времени было двадцать минут девятого, за окном стояла влажная густая темень, как бывает зимой в оттепель.

Не одеваясь, Серго выскочил на улицу, пробежался по круглому каменному двору и остановился в подворотне: он не знал, куда теперь идти.

Эмма Ашотовна звонила по телефону родителям одноклассниц. Гаяне нигде не было...

Завязка этого вечернего исчезновения произошла месяцем раньше. Девочки добаливали совместную ангину и сидели дома. Виктория, учуяв через две двери запах свежих котлет, притянулась на кухню. Котлеты были большие, честные, начиненные чесноком и травами и исполнены с таким искусством, как будто им предстояла долгая и счастливая жизнь. До обеда было еще далеко, но Вика получила одну – коричневую, в блестящей корочке, едва сдерживающую напор сока и жира. Вика откусила и замахала языком, шумно запуская в рот воздух для охлаждения котлеты.

Обычно Эмма Ашотовна не допускала таких предобеденных вольностей, но девочка выздоравливала после болезни и впервые за неделю попросила поесть.

С увлечением жуя, она прислушивалась к разговору соседок. Мария Тимофеевна, качая тощей головкой, обсуждала с феней ужасное происшествие: нынче утром во дворе у помойки нашли мертвого новорожденного ребенка.

– Я тебе говорю, феня, это либо из восьмого, либо из двенадцатого, в нашем-то никто и не ходил... – выдвигала патриотическую версию Мария Тимофеевна.

– Поди знай, – ворчала феня, которая вообще о человечестве была дурного мнения.
– Утянутся, ушнуруются – и не увидишь.

И она очень натурально сплюнула на пол. Невзирая на девство, о практических последствиях плотского греха она была информирована очень хорошо и испытывала к нему сугубое отвращение.

Разговор шел в опасном направлении, и Эмма Ашотовна, с покрасневшим от сковородного жара лицом и строгими бровями, велела Виктории отправляться в комнату. Наполненная теплой котлетой и ужасной новостью, шла Виктория по коридору и размышляла о бедном новорожденном. Сначала он представился ей в белом кружевном конверте, вроде того мемориального, в котором когда-то спала их мать, а теперь кукла Слава. И этот найденный на помойке мертвый ребеночек представлялся уже кудрявой куклой Славой со скользкими живыми волосами. Но это было как-то неудовлетворительно: не было жалко ни Славу, ни того ребеночка. Хотелось другого, жгучего. Тогда Виктория представила его совсем маленьким, розовым, похожим на не обросшего еще шерсткой котенка от коммунальной кошки Маруси, но только с ручками и ножками вместо лапок и со Славиными розово-желтыми волосиками. Но и эта картина не совсем удовлетворяла ее жадное воображение.

Жирными от котлеты пальцами она коснулась бронзовой ручки своей двери и замерла: о, если бы Гаяне была тем воображаемым ребеночком на помойке!

У Виктории дух захватило: конечно, кто-то близкий и тайно злой выкрадывает маленькую Гаяне, убивает и выбрасывает... Вика открыла дверь, и все рассыпалось от столкновения со скучной действительностью: Гаяне, с обвязанной розовым платком шеей, сидела за столом и, прикусив кончик длинной косы, читала «Робинзон Крузо».

Виктория прошла в детскую и встала у окна. Дворовую помойку, большой деревянный ящик, видно отсюда не было, ее загораживал двухэтажный флигель. В его облупленный желтый бок Виктория и уставилась. Инженерные способности ее отца передались ей каким-то замысловатым способом: ей тоже было важно, чтобы колесико цепляло за колесико, шатун давил на кривошип и машина в конечном счете

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya.ludmila.ru двигалась. Тот мертвый ребенок ее совершенно не устраивал. Ей нужен был живой, выброшенный на помойку, и чтобы это была Гаяне.

Брови у Виктории были почти сросшиеся, дугообразные, а к вискам они как будто снова собирались загнуться вверх. В задумчивости она, как и отец, непроизвольно двигала бровями вверх-вниз.

Может, так? Бабушка рано утром выходит с ведром и находит на помойке девочку. Думает, она мертвая, а она живая. Она ее домой приносит и маме говорит: «Покорми ее, ей только три дня». А у мамы я, тоже три дня... – И опять вылезал дефект конструкции: кто же тот злодей, который выбрасывает ребенка на помойку?..

Милиция уже опросила всех желающих высказаться по поводу криминальной находки, собрала несколько фантастических версий, в которых увлекательно перемешивались корысть, колдовство и страсть к доносительству, и двор, всегда живущий по закону несгибаемой, как вечность, сиюминутности, отодвинул происшествие в свою историю, обреченную на забвение, равно как и истории великих допотопных цивилизаций. Следователь положил на полку еще одно дело о нераскрытом убийстве, которое и убийством не вполне считали...

И только Виктория все мучилась своим недоношенным сюжетом. Когтистая интрига не отпускала ее, и она все искала гипотетическую мать выброшенного на помойку ребенка, превратившегося по авторской воле ее злой фантазии в сестру Гаяне.

На третий день творческих мучений Вика, проходя в своем же подъезде мимо двери, ведущей в полуподвальную дворницкую квартиру, нашла искомый персонаж. Бекериха, занимавшая здесь угловую комнату, видом была ужасна. Роста высокого даже для мужчины, по-мужски стриженная, истрепанная белесым лицом и одеждой, она слыла пьяницей, хотя пьяной ее никогда не видели. Но пьяницей она действительно была, на свой манер. Пила она каждый день, всегда в одиночку, затворившись в своей убогой комнатухе. Выпивала она ровно одну бутылку красного вина, начиная быстрым стаканом и растягивая оставшиеся полбутылки часа на два. Потом ложилась спать на тюфяк, прикрытый больничной простыней, взятой напрокат.

Солнце вставало, когда ему было угодно, в зависимости от времени года, Бекериха же просыпалась всегда в половине шестого. Едва разлепив глаза, она выпивала оставленное с вечера – на два пальца от доньшка – вино... Другой бы давно спился, но ее держало постоянство и приверженность к режиму. Очнувшись после обморочно крепкого сна, она шла в больницу махать тряпкой. Другие уборщицы и санитарки не любили ее за безучастную молчаливость, волчий взгляд и рьяную работу. Никто, кроме главврача Маркелова, взявшего ее на службу, не знал, каким толковым фельдшером и надежным помощником была Таня Бекер в довоенное, допосадовое время.

Отмахав свои полторы ставки, двенадцать часов, она успевала по дороге домой прикупить ежевечернюю бутылку и к восьми уже забивалась в свою конуру. Она снимала боты, тужурку, садилась на тюфяк и ставила на табуретку, успешно заменявшую обеденный стол, заветную бутылку. Снаружи было тепло, и через несколько минут – она знала – тепло будет и изнутри, и она медлила потому, что берегла и длила эту счастливую минуточку, подаренную ей невзначай.

Дворовые люди невзлюбили ее за гордость, которую пронизательно в ней разглядели. Дети боялись ее и разбегались при появлении ее длинной фигуры в глубокой каменной подворотне. Они прозвали ее Трупорезка, потому что кто-то пустил про нее слух, что она работает в морге. Но это было не так, она всего лишь убирала в двух самых тяжелых отделениях больницы: в гнойной хирургии и в неврологии.

Виктория начала артподготовку: она собирала вокруг себя кучку взъерошенных девочек и, трясая сдвоенным сине-красным помпоном на вязаной шапочке, рассказывала, как трупы сначала плавают в больших стеклянных банках, а потом их сортируют, отдельно ноги, отдельно руки, отдельно головы, и этим как раз делом и занята Бекериха.

Рассказы Виктории были страшны и притягательны, младшая из девчачьей компании, Лена Зенкова, затыкала уши рукавицами, но оттащить ее было невозможно: даже то, что просачивалось через мокрые варежки, не теряло своей таинственной прелести. К тому же Виктория выбирала интересные места для подобных собеседований: в темном треугольно скошенном пространстве под лестницей, в закутке между дровяными

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru сараями, на шестом, последнем этаже, на узкой недоразвитой лесенке, ведущей на чердак. Тьма, полутьма, невнятные постукивания сопровождали этот спектакль, и каждый раз Виктории, оказавшейся в рабстве собственной фантазии, приходилось придумывать что-то новое, еще далее, еще более...

Она вполне справлялась со своей ролью рассказчицы страшных рассказов, которые шли по боковым тропкам, делали петли и витки, но не изменяли лишь ужасной Бекерихе, которая всегда оставалась главной героиней.

Собеседования эти пользовались большим успехом, но чуткая Гаяне с самого начала сериала все старалась улизнуть, отказавшись от прогулки под благовидным предлогом насморка или головной боли. Сеансы отменялись, переносились на другой раз, когда Гаяне вынужденно оказывалась рядом с рассказчицей.

Истории про отрезанные конечности, черные простыни и оживших мертвецов, строго говоря, не были уникальными. Они были в моде их юного возраста, а также времени и места. Виктория, несомненно, была талантливой рассказчицей, а Гаяне – самой впечатлительной из слушательниц. К тому же Гаяне смутно ощущала некую тревожащую целенаправленность этих рассказов о ночных взаимоотношениях оклеветанной Бекерихи и еще более оклеветанных умерших пациентов старой городской больницы.

Эти три ступени вниз, в полуподвальную квартиру, казались Гаяне входом в преисподнюю, и она, почти не касаясь пола, взлетала единым духом на второй этаж...

В тот памятный вечер они сели за уроки позже обыкновенного, потому что был понедельник, а по понедельникам они занимались музыкой, и потому день был какой-то двугорбый. Они сидели за старым Маргаритиным столиком, друг против друга. Виктория подложила под себя ногу, что было строго запрещено бабушкой, и высыпала на стол мятые тетради и обкусанные карандаши. Гаяне сунула руку в портфель и вынула из него волокнисто-коричневый конверт.

– Ой! – сказала Гаяне, поскольку конверт неизвестно как попал к ней в портфель.

– Что это у тебя? – вскинула любопытные брови Виктория, пока Гаяне в недоумении разглядывала конверт, на котором расплывающимися красными буквами было написано квадратно и крупно: «Гаяне. В собственные руки».

– Конверт какой-то. Письмо, – пробормотала Гаяне. Она держала конверт двумя руками, и буквы, расплывающиеся волокнистыми сосудиками чернил, казались живыми и кровеносными.

– А в нем что? – почти равнодушно спросила Виктория.

Гаяне положила письмо на край стола, словно раздумывая, стоит ли вскрывать. Чутким своим нутром она понимала, что ничего хорошего в нем быть не может. Оно лежало на углу стола, сильно пахло клеем и делало вид, что совершенно случайно сюда попало. Гаяне запустила руку в портфель и вынула свои аккуратные тетради, розовое письмо в две линейки с редкой косой и желтую арифметику в успокоительную клетку. В нее и усталилась Гаяне.

– Тебе письмо, да? – не выдержала Виктория, которая пыталась делать вид незаинтересованный.

Гаяне перевернула конверт вверх спинкой, грубо заклеенной еще не высохшим клеем. Она провела пальцем по сырому шву и ответила сестре:

– Я потом прочту.

Вика накрутила на палец кончик косы и усталилась в тетрадь – все шло неправильно. Письмо лежало на столе неп прочитанным, бабушка могла войти в любую минуту, а Гаяне, как ни в чем не бывало, скользила восьмидесятым пером по блестящему тетраднему листу. И действительно, вид Гаяне имела безмятежный, но при этом она была охвачена дурным предчувствием и полностью сосредоточена на письме.

«Уйди отсюда, уйди. Пусть тебя совсем не будет», – заклинала она грядущую минуту.

Однако мысль, что письмо можно выбросить не читая, даже не приходила ей в голову.

Уставшая от ожидания Виктория положила руку на конверт:

– Тогда я сама прочту!

Гаяне встрепенулась:

– Нет. Мое письмо.

И вскрыла конверт.

«Гаяне! Вот настало время тебе все узнать. Меня все зовут Бекериха, я твоя мать. Я тебя родила и подкинула, потому что не могла тебя взять с собой. Это секрет. Я потом расскажу. Скоро я приду, всем расскажу и тебя заберу, дочка. Будем вместе жить. Твоя мама Бекериха».

Сначала Гаяне долго разбирала, что именно написано мелкими, набок заваленными буквами. Слово «дочка» было выписано крупно, толсто. Она долго соображала, что же оно означает. Виктория терпеливо переждала необходимую паузу и наконец спросила:

– От кого письмо, Гайка?

Гаяне молча протянула ей тетрадный листок. Виктория наслаждалась текстом: он был хорош. Особенно нравилось начало: вот настало время тебе все узнать...

О, это уже было, уже было... Это время, растянувшееся, как ослабшая резинка, потерявшее начало и конец, и странное движение по тошнотворному обратному кругу. Ощущение ужасной кражи, чувство тьмы...

И это всплывшее воспоминание чувства было верным доказательством того, что это письмо, ужасное даже на вид, сообщает не менее ужасную, но истинную правду: страшная Бекериха – ее мать.

– Не бойся, – великодушно пообещала Виктория. – Никто тебя твоей матери не отдаст.

– Ты, что ли, знала? – ужаснулась еще раз Гаяне. Чужое знание усугубляло весь этот ужас.

Виктория дернула плечом, перекинула косичку и успокоила сестру:

– Да ты не волнуйся так. Конечно, знала. И все знают.

– И Феня? – с глупой надеждой спросила Гаяне.

– Конечно, и Феня. Все, тебе говорю, знают.

Следующий виток злодеяния был чистым экспромтом. Виктория не была особенно плохой девочкой. Дурная мысль овладела ею и, как у талантливых людей бывает, талантливо развивалась.

– А с чего наша мама заболела, как ты думаешь? Тебя бабушка с помойки принесла и говорит ей: вот, корми! Приятно, думаешь?

– И заболела? – переспросила сестру Гаяне.

– А ты думаешь! Она говорит «не хочу», а бабушка ей велит... Вот и заболела...

– А ты? – пыталась наладить треснувший миропорядок Гаяне.

– Что я? Я-то родная дочь, а ты – подкидыш...

– А с какой помойки? – как будто эта подробность была так уж важна, спросила Гаяне.

– С какой? Да с нашей, где ящик зеленый во дворе, – изящно присоединила Виктория географию к биографии и в этот именно миг почувствовала полнейшее удовлетворение художника. Вкус теплой котлеты, ужасной новости и запах мастики, которой натерли коридор, – вот что еще она почувствовала в этот момент.

– А-а-а... – как-то вяло отозвалась Гаяне, и Виктория, почувствовав эту вялость, вдруг усомнилась в успехе своей ловкой шутки: веселой она не получилась, вот что... И она сунула нос в учебник, отыскивая нужный номер задачи и одновременно соображая, как бы оживить ситуацию.

Когда она подняла голову от учебника, сестры в комнате не было. Аккуратно вскрытый конверт и письмо лежали на краю стола.

«Ревет за вешалкой», – предположила Виктория. Она собиралась дать сестре немного поревевать, а потом признаться, что это шутка.

И тут в комнату вошел отец и спросил:

– А где Гаяне?

А Гаяне отошла от дома так далеко, как никогда еще одна не отходила. До самой Пресни. Она стояла у входа в зоопарк, на тощем портале которого выродившиеся боги вымерших народов охраняли плененное звериное племя. Какое-то тоскующее животное, а может, ночная птица, издавало длинные хриплые вопли. Начинался снегопад, и все посветлело. Вокруг фонарей засияли шары золотого рассеянного света, а там, куда не доставало электричество, лунно и серебряно сверкал медлительный крупный снег. Все было новым и неиспытанным в эту минуту: и одиночество, и отдаленность от дома, и эти унылые вопли, и даже запах снега, смешанный с духом конюшни и обезьянника.

Ей казалось, что с тех пор, как она ушла из дому, прошла вечность, и даже не одна. Это была вечность ужаса перед Бекерихой и вечность вины перед матерью. Она поверила сестре сразу и неколебимо. Все объяснялось: тонкие тревоги ее жизни, беспокойства, темные предчувствия и неопределенные страхи получили полное оправдание. Конечно же, она чужая в семье, а ужасная Бекериха – ее родная мать, и только Вика имеет полное право на бабушку, папу, Феню, на мамин утренний бледный поцелуй, а ее, Гаяне, заберет в подвал ужасная желтозубая Бекериха.

Мысль о сходстве с сестрой, прекрасно известном ей с раннего детства, несколько не мешала общей картине развернувшейся катастрофы. Соображение это было слишком мелочным, чтобы рассматриваться в столь исключительных обстоятельствах.

Если настоящая мать ее Бекериха, если она, Гаяне, виновата в болезни бедной ненастоящей матери Маргариты, то лучше всего ей будет умереть. Мысль о смерти принесла неожиданное облегчение. Она вовсе не стала размышлять о технических деталях самоубийства, это тоже было бы слишком мелочным. Ей казалось, что достаточно найти укромное место, сжаться там в комочек, и одного ее горячего желания не жить будет достаточно, чтобы никогда не проснуться.

Она шла вдоль зоопарка по безлюдной заснеженной улице и заметила издали темную фигуру, протискивающуюся сквозь слегка раздвинутые прутья ограды. Ночной сторож Юков выносил обычной ночной дорогой свою законную порцию второсортной говядины, предназначенной тощим хищникам. Юков шмыгнул мимо девочки и скрылся в проходном дворе. Здесь неподалеку жила его подруга. Мясо, таким образом, оказывалось дважды краденным: у тигра и у юковской семьи.

Гаяне постояла, пока человек не исчез из виду, и легко проскользнула между прутьями. Здесь, в зоопарке, было чудесно и совсем не страшно. Тоскливые вопли ночного зверя прекратились, хотя время от времени раздавались какие-то таинственные громкие вздохи, урчания и стоны. В светлой пустоте прошла она мимо заснеженного пруда и вышла к вольерам, звери из которых давно были переведены в теплые помещения.

В проходе между двух довольно высоких проволочных стен стоял большой деревянный ящик, очень похожий на тот зеленый мусорный, что был у них во дворе. Занесенные снегом брикеты спрессованного сена были свалены кучей у его боковой стенки. Гаяне разгребла vareжкой снег, вытащила один брикет и разворошила его. Печально

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru запахло летом, дачей и всей ушедшей жизнью. Она села на брикет, как на низкую скамеечку возле бабушкиных ног, сеном из разворошенного брикета покрыла колени, зажмурилась и крепко уснула, совершенно уверенная, что никогда больше не проснется в этот мир злой и неисправимой справедливости...

Письмо вместе с надписанным красными чернилами конвертом Виктория засунула в штаны. В уборной она порвала его на мелкие кусочки и спустила в коммунальную Лету. Недоверие к помойному ведру висело в воздухе подлой эпохи. В перерывах между звонками в морг и в милицию Эмма Ашотовна допросила Викторию. Вика смотрела честными глазами: врать ей не пришлось. Она действительно не знала, куда подевалась сестра.

Эмма Ашотовна не была Шерлоком Холмсом, она не заметила ни подозрительного красного пятнышка на безымянном пальце внучки, ни брошенной на полуслове тетрадки Гаяне, свидетельствующей о внезапности ее исчезновения. Впрочем, индуктивные методы доктора Ватсона были тогда не в моде, а другие, более модные, были совершенно неприемлемы для Эммы Ашотовны.

В результате стечения этих двух обстоятельств Виктория была отправлена в постель, а домашнее следствие – на доследование в районное отделение милиции, куда был для этого послан Серго с чугунным гипертоническим затылком и буро-красным от прилившей крови лицом.

Несчастливая Виктория легла в постель сестры, оплакивая ужасную судьбу исчезнувшей Гайки и одновременно обдумывая хитрый план мести Бекерихе, которая была во всем виновата.

..Во втором часу ночи довольный и сытый Юков, удовлетворивший физические и в некотором роде духовные потребности за счет голодающего тигра, снова просунул между прутьями свое умиротворенное тело. Он намерен был обойти участок, а потом заглянуть в дирекцию, где дежурил сегодня его приятель Васин. Меж двух пустых вольер, возле большого деревянного ларя, он нашел спящую девочку. Куполком торчал на ее голове занесенный снегом помпон, нетающий снег лежал на ресницах. Но была она не мерзлая – теплая и дышала. Он удивился, что не заметил ее прежде, пошлепал по щекам, но она не проснулась. Тогда он смахнул с нее снег, взял на руки и отнес в дирекцию.

Васин удивился, увидев его с такой неожиданной ношей. Ее посадили на стул – она продолжала спать.

– Вишь, спящая царевна! И как ее сюда занесло? – ворчал Юков.

– Со дня осталась, что ли, – высказал предположение Васин.

– Нет, кажись, не было ее тут, когда я заступал. В милицию, что ли, позвонить... Или подождать, как сама проснется... – рассуждал Юков.

– Да они только приезжали. Стоят, поди, у ворот, – заметил Васин.

И правда, милицейская машина еще не отъехала. Васин привел дежурного лейтенанта. Дежурный тоже безуспешно пытался разбудить девочку. Ставил ее на ноги, но ноги были согнуты в коленях и не разгибались.

– Что-то не то, – решил дежурный и отвез спящего ребенка в приемное отделение Филатовской больницы. Пока в приемном отделении оформили получение странной больной, пока дежурный лейтенант, совершив объезд по своему околотку, добрался до своего отделения и сделал донесение о спящей находке, пошел уже шестой час утра.

В доме на Мерзляковском спать не ложились. На кушетке, обвязав голову розовым платком, лежал Серго, в кресле окаменела бледная Эмма Ашотовна. Из комнаты время от времени раздавалось жалобное восклицание Маргариты:

– А где Гаяне?

Ей не отвечали.

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Одна только Виктория спала. В сестриной кровати, обняв промокшую чуть ли не насквозь сестрину подушку и подтянув к животу колени, в той самой позе, в которой спала Гаяне в изоляторе приемного отделения, куда ее поместили для выяснения личности и диагноза.

...Когда зазвонил телефон и Эмме Ашотовне сообщили, чтобы она ехала в Филатовскую больницу, где, судя по всему, находится ее пропавшая внучка, Серго бурно, в голос, зарыдал, и Эмме Ашотовне пришлось дать ему хорошую дозу валерьянки, прежде чем он вляпался в толстое ватное пальто. Впервые в жизни Серго взял под руку тещу и, увязая в ночном снегу, не сбитом еще ранними дворниками в кучи, повел ее, в гордой шубе, в меховой шляпке с шелковым пропеллером на затылке, через Никитскую на Спиридоновку, перевел через Садовую, и вскоре они вошли в приемный покой Филатовской больницы.

Через стеклянную дверь Эмме Ашотовне показали спящую девочку, в бокс, однако, не впустили, сказавши, что хоть она цела и невредима, но что-то с ней не в порядке и утром ее посмотрят невропатологи и прочие специалисты, поскольку она спит не просыпаясь, и даже в теплой ванне, куда ее поместили, она не изменила той позы, в которой ее нашли: колени согнуты и ручки скрещены на груди. Впрочем, спит она спокойно и температуры нет.

Здесь Серго окончательно стало дурно, он побледнел и повалился на случайно подвернувшийся стул. Понохав нашатыря, он пришел в себя, и тут уж Эмма Ашотовна взяла своего зятя под руку и повела через Садовую, по Спиридоновке, через Никитскую к дому, в Мерзляковский переулок. Дворники уже расчистили тротуары, было светло; служащие спешили по своим дребезжащим трамваям...

Оба молчали. Они почти не разговаривали с тех самых пор, как он пришел с фронта. Да, собственно говоря, в этой семье разговаривали только девочки либо с девочками. Взрослые же люди – Маргарита, Серго, Эмма Ашотовна – произносили постоянно лишь внутренние монологи. Это была печальная музыка семейного безумия, женского неразрешимого укора и мужского столь же неразрешимого упрямства.

Но сегодняшнее их общее молчание не было начинено раздором, они оба не понимали, что же произошло с их ребенком, и это общее непонимание, пережитая чудовищная ночь сблизили их.

«Ах, дурак, дурак, – сочувственно и мимолетно подумала она о Серго, которого вела под руку. – Да и сама я дура, как просмотрела...» – трезво оценила ситуацию Эмма Ашотовна. И она позволила себе небывалое – обратилась к нему с вопросом:

– Сережа, что же это такое с ней случилось, а?

– Бог знает, мама. Совсем ничего не понимаю: все есть у девочки, – сказал он с более сильным, чем обычно, акцентом. Они давно уже выглядели ровесниками, пятидесятилетний Серго и шестидесятилетняя Эмма Ашотовна...

Когда они подошли к дому, увидели у подъезда жиденькую толпу и санитарную машину. Она словно материализовалась из всех ночных страхов сегодняшней ночи, но душевные силы были истрачены дотла, и потому Эмма Ашотовна даже не поинтересовалась, к кому приехала «скорая».

А машина приехала за Бекерихой. Рано утром ее соседка, дворничиха Ковалева, не слыша из комнаты привычных звуков утренних сборов и не видя соседки возле кухонного крана, толкнула ее дверь, окликнула и, не услыша отзова, двинула плечом. Крючок отлетел, и Ковалева обнаружила Бекериху уткнувшейся в тощую подушку лицом и с опущенными на пол ногами. Она как будто сидела, а потом упала лицом в казенную печать больничной наволочки. Так неожиданно настигла Бекериху острая сердечная недостаточность, и на два пальца красного вина так и осталось недопитым.

Феня сказала: «По грехам». Но таких грехов не бывает. И никто не исчислит, зачем Танина злая судьба послала ее на каторгу за немецкую фамилию прадеда, петровского набора судостроителя, потом со скучной методичностью забрала мужа, мать, сестру и трехлетнюю дочку, а напоследок еще сделала ее ужасным пугалом десятилетней девочки, которую она и в глаза не видела...

Виктория, не поднятая бабушкой в школу, безмятежно спала. Зато Маргарита встала.

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru
Причесанная и одетая, она стояла на стуле, установленном на середине обеденного
стола, и вытирала влажной тряпкой хрустальные сосульки люстры.

– Ну, что с Гаяне? – спросила она сверху. Стеклянные палочки еще продолжали
звенеть.

– Все в порядке. Она спит, – осторожно ответила Эмма Ашотовна.

– Я чуть с ума не сошла, – тихо сказала Маргарита. – Мамочка, сделай на обед
плов.

Тут потрясенная Эмма Ашотовна плавно опустилась на тахту. Потом Маргарита
подняла глаза на вошедшего в комнату мужа и обратилась к нему впервые за много
лет:

– Серго, помоги мне слезть. Я посмотрела, люстра такая пыльная...

Виктория, проснувшись к тому времени, все отлично слышала из своей комнаты. Она
зевнула, вытянула ноги и потянулась.

«Какая все же Гайка дурочка... Подарю ей мою американскую собачку», – великодушно
решила она. Вылезла из постели, отыскала ленд-лизовскую собачку и посадила
сестре на подушку – плюшевого свидетеля своей беспокойной совести.

В это же самое время проснулась и Гаяне. Она выпрямила затекшие ноги. Никакой
катаlepsии, предполагаемой врачами, у нее не было. Она посмотрела по сторонам.
Сон с белыми, замазанными краской окнами ей не понравился, и она снова закрыла
глаза.

Когда она проснулась в следующий раз, бабушка сидела возле нее на стуле, сверкая
алмазными серьгами, и счастливо улыбалась красно накрашенными губами, а оттого,
что на желтоватых передних зубах был виден следок губной помады, Гаяне поняла,
что это не сон. К тому же из-за бабушкиной спины, треща наброшенным на плечи
халатом, выглядывал Юлий Соломонович. Ему, известному врачу, под расписку
выдавали пациентку, и он потирал свои розовые пересушенные руки, чтобы уличным
холодом, пробившим его старые перчатки, не обжечь теплого детского тела...

Второго марта того же года...

Зима была ужасная: особенно сырой и душный мороз, особенно грязное ватное одеяло
на самые плечи опустившегося неба. Еще с осени слег прадед, он медленно умирал
на узкой ковровой кушетке, ласково глядя вокруг себя провалившимися
желтовато-серыми глазами и не снимая филактерии с левой руки... Правой же он
придерживал на животе плоскую, обшитую серой стершейся саржей электрогрелку,
образчик технического прогресса начала века, привезенный из Вены сыном
Александром перед той еще войной, когда вернулся домой после восьмилетнего
обучения за границей молодым профессором медицины.

Греть живот, вообще-то, было строго запрещено, но под этим слабым неживым теплом
утихала боль, и сын-онколог уступил в конце концов просьбе старика и разрешил
грелку. Он хорошо представлял себе и размеры опухоли, и области
метастазирования, исключаящие операцию, и преклонялся перед тихим мужеством
отца, который во всю свою девяностолетнюю жизнь ни на что не пожаловался, ни на
что не посетовал.

Приходила из школы правнучка Лилечка, любимица, с блестящими коричневыми глазами
и матовыми черными волосами, в коричневом форменном платье, вся в следах мела
и лиловых чернил, ласковая, розовая, влезала с краю на кушетку, под больной бок,
натягивала на себя плед, ворохаясь локтями и пухлыми коленями, и шептала прадеду
в исхудавшее волосатое ухо:

– Ну, рассказывай...

И старый Аарон рассказывал – то про Даниила, то про Гедеона. Про богатырей,
красавиц, мудрецов и царей с мудреными именами, которые все были давно умершими
родственниками, но впечатление у девочки оставалось такое, что прадед Аарон, по
своей древности, некоторых знал и помнил.

Зима эта была ужасной и для Лилечки: она тоже чувствовала особую тяжесть неба,

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru
домашнее уныние и враждебность уличного воздуха. Ей шел двенадцатый год. Болело под мышками, и противно чесались соски, и временами накатывала волна гадливого отвращения к этим маленьким припухlostям, грубым темным волоскам, мельчайшим гнойничкам на лбу, и вся душа вслепую противилась всем этим неприятным, нечистым переменам тела. И всё, всё сплошь было пропитано отвращением и напоминало о морковно-желтой жирной пленке на грибном супе: и унылый Гедике, которого она ежедневно мучила на холодном пианино, и шерстяные колючие рейтузы, которые она натягивала на себя по утрам, и мертво-лиловые обложки тетрадей... И только под боком у прадеда, пахнущего камфарой и старой бумагой, она освобождалась от тягостного наваждения.

Бабушка Бела Зиновьевна, профессор, специалист по кожным заболеваниям, и дед Александр Ааронович были крепконогой парой, дружно тянущей немалый воз. Александр Ааронович, по-домашнему Сурик, был высокий, костистый и широкоухий человек, автор незамысловатых шуток и хитроумнейших операций, он любил говорить, что всю свою жизнь предан двум дамам: Белочке и медицине. Низенькая полная Белочка, с наведенными бровями, красно напомаженным ртом и яркой сединой, конкуренции не боялась.

Какое-то странное волнение касалось их обоих, когда, придя с работы, они заставляли старика и девочку в самозабвенном общении. Переглядывались, и Белочка смахивала слезу от уголка подведенного глаза. Сурик многозначительно и предостерегающе постукивал пальцами по столу, Бела поднимала вверх раскрытую ладонь – как будто это была азбука для глухонемых. Множество было у них таких движений, знаков, тайных бессловесных сообщений, так что в словах они мало нуждались, улавливая все взаимными сердечными токами.

Уходит старый отец, понимали эти еще молодые старики, и на пороге смерти передает свое сомнительное богатство младшему колену, девочке на пороге девичества. И хотя ветхие сказки древнего народа казались ученым профессорам наивной и изношенной одеждой человеческой мысли, а собственное их мышление было выточено и дисциплинировано школой европейского позитивизма в Вене и в Цюрихе, приучено к ловкой научной игре, и поклонялись они лишь одному картонному богу – изворотливому факту, – и мужественно существовали в честном и прискорбном атеизме, оба они чувствовали, что здесь, на вытертой кушетке, рядом со снисходительно-неторопливой смертью процветал небывалый оазис. Здесь не было ни врачей-отравителей, ни мистического страха перед их злоумышлениями, охватившего миллионы людей. Дух этой действительной отравы – страха, гнусности и чертовщины – отступал только здесь, и, удрученные, ежедневно готовые к аресту, высылке, к чему угодно, ученые профессора медлили уходить из столовой, общей комнаты, где болел старик, к своим обычным научным занятиям, а садились в кресла возле редчайшей тогда редкости, телевизора, впрочем, не включенного, и вслушивались в старческое распевное воркование: речь шла о Мордехеае и Амане.

Они улыбались друг другу, тосковали и молчали о том безумии, в которое окунались каждый день за порогом своего дома...

Пережив большую войну, потеряв братьев, племянников, многочисленную родню, но сохранив друг друга, свою малую семью, всю полноту взаимного доверия, дружбы и нежности, добившись добротного и невызывающего успеха, они, казалось, могли бы еще полное десятилетие, пока здоровье, силы и опыт были в счастливом равновесии, жить так, как им всегда хотелось: с аппетитом работать всю чрезмерно плотную неделю, уезжать с субботы на воскресенье на новую, недавно отстроенную дачу, играть в четыре руки Шуберта на плохоньком дачном инструменте, купаться в послеобеденные часы в кувшинчатой темной речушке, пить чай из самовара на деревянной веранде в косых лучах заходящего солнца, вечером читать Диккенса или Мериме и одновременно засыпать, обнявшись таким отлежавшимся за сорок с лишним лет образом, что и непонятно – форма ли выпуклостей и вогнутостей их тел в определенных позах гарантирует их устойчивое удобство, или за эти годы, проведенные в ночном объятии, сами тела деформировались навстречу друг другу, чтобы образовать это единение.

И вполне, вполне, через головы их седые, хватило бы им омрачающих жизнь переживаний из-за давнего и тяжелого конфликта с сыном, избравшим добровольно такую область деятельности, куда нормального человека черт калачом не заманит. Он занимал большую, но неопределенную должность, жил на северо-востоке, за Полярным кругом, вместе со своей медведеобразной женой Шурой и младшим сыном Александром, и была какая-то насмешка судьбы в том, что самые несоединимые в

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
семье люди назывались одним именем.

Старшую свою дочь, Лилю, сын привез в сорок третьем году в Вятку, в военный госпиталь, где родители его по двенадцать часов стояли у операционного стола. Девочке было пять месяцев, она весила три килограмма, была похожа на высохшую куклу, и с этого дня до самого конца войны они работали в разные смены – обычно Александр Ааронович брал себе ночь. Лиля, Белой Зиновьевной выправленная, выкормленная, так и осталась у бабушки с дедушкой, заново рожденная к славной доле профессорской внучки. Но приемных своих родителей, зная обидчивость родной матери Шуры, изредка приезжавшей, она звала Белочкой и Суриком, а прадеда – дедушкой.

Теперь Бела и Сурик сидели в мягких старых креслах в суровых чехлах, вполоборота к кушетке, и делали вид, что не слушают, о чем там шепчутся старик и девочка.

– Дедуль, – ужаснулась Лиля, – и что же, всех-всех врагов на дереве повесили?

– Я же не говорю тебе: это плохо, это хорошо. Я говорю, как было, – с сожалением в голосе ответил прадед.

– Другие придут, и отомстят, и убьют Мордехая... – с тоской проговорила девочка.

– Ну конечно, – неизвестно чему обрадовался прадед, – конечно, так все потом и было. Пришли другие, убили этих, и опять. Вообще, я тебе скажу, Израиль жив не победой, Израиль жив... – Он приложил левую руку в филактериях ко лбу и поднял пальцы вверх: – Ты понимаешь?

– Богом? – спросила девочка.

– Я же говорю, ты умница, – улыбнулся совершенно беззубым младенческим ртом дед Аарон.

– Ты слышишь, чем он забивает голову ребенку? – грустно спросила Бела у мужа, когда они остались в своей комнате с двуспальным, как шутил Сурик, письменным столом...

– Белочка, он простой сапожник, мой отец. Но не мне его учить. Знаешь, иногда я думаю, было бы лучше, если бы и я остался сапожником, – хмуро сказал Сурик.

– О чем ты говоришь? Обрато уже не пускают! – раздраженно ответила умная Белочка.

– Тогда ты можешь не волноваться из-за Лилечки, – усмехнулся он.

– А! – махнула рукой Бела. Она была практичной и не такой уж возвышенной. – Этого я как раз не боюсь! Я боюсь, что она сболтнет что-нибудь в школе!

– Душа моя! Но именно теперь это уже не имеет никакого значения, – пожал плечами Сурик.

Бела Зиновьевна беспокоилась напрасно. Лиля ничего и не смогла бы сболтнуть: с самой осени в классе с ней не разговаривали. Никто, кроме Нинки Князевой, которую всё переводили в школу для дефективных, да никак бумаг не могли собрать. Крупная, редкостно красивая, не по-северному рано развившаяся Нинка была единственной девочкой в классе, которая, по своему слабоумию, не только с Лилей здоровалась, но и охотно становилась с ней в пару, когда выводили это шумно пищущее стадо в какой-нибудь обязательно красноразнозначный музей.

У времени были свои навязчивые привычки: татары дружили с татарами, троечники – с троечниками, дети врачей – с детьми врачей. Дети еврейских врачей – в особенности. Такой мелочной, такой смехотворной кастовости и Древняя Индия не знала. Лиля осталась без подруги: Таню Коган, соседку и одноклассницу, родители отправили в Ригу к родственникам еще до Нового года, и потому последние два месяца были для Лили совсем уж непереносимыми.

Любой взрыв смеха, оживления, любой шепот – все казалось Лиле направленным против нее. Какое-то темное жужжание слышала она вокруг, это было жукастое черно-коричневое «ж», выползающее из слова «жидовка». И самым мучительным было

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
то, что это темное, липкое и смолистое было связано с их фамилией, с дедом Аароном, его кожаными пахучими книгами, с медовым и коричневым восточным запахом и текучим золотым светом, который всегда окружал деда и занимал весь левый угол комнаты, где он лежал.

И к тому же – оба эти чувства непостижимым образом навсегда были сложены вместе: домашнее золотое свечение и уличное коричневое жужжание...

Едва раздавался хриплый и долгожданный звонок-освободитель, Лиля смахивала свои образцовые тетради в портфель и неслась на тяжелых ножках к раздевалке, чтобы скорее-скорее, не застегивая пуговиц и злобного подшейного крючка, выскочить на воздух и быстро, через комья снежно-серой каши, через лужи с битым льдом, спадающими калошами брызгая на чулки, на подол пальто, еще через один двор – и в свой подъезд, где успокаивающе пахнет сырой известкой, дальше лестница на второй этаж без площадки, с плавным поворотом, к высокой черной двери, где теплая медная пластинка с фамилией Жижморский, их ужасной, невозможной, постыдной фамилией.

В последнее время прибавилось еще одно испытание: у выхода из школьного двора, раскачиваясь на высоченных ржавых воротах, ее поджидал страшный человек Витька Бодров, по-дворовому Бодрик. У него были жестяно-синие глаза и лицо без подробностей.

Игра была незамысловата. Выход из школьного двора был один, через эти самые ворота. Когда Лиля подходила к ним, стараясь погуще затесаться в толпу, чуткие одноклассницы либо отступали немного, либо пробегали вперед, а когда она вступала в опасное пространство, Бодрик отталкивался ногой и, чуть пропустив ее вперед, направлял гнусно скрипящие ворота ей в спину. Удар был несильный, но оскорбительный... Каждый день он сообщал игре нечто новое. Однажды Лиля развернулась, чтобы принять удар не спиной, но лицом, схватилась за железные прутья и повисла на них.

В другой раз она встала поодаль ворот и долго ждала, делая вид, что и не собирается идти домой. Но у Бодрика терпения и свободного времени было предостаточно, и, продержав ее так с полчаса, он с удовольствием пронаблюдал, как она пытается протиснуться между прутьями ограды. Попытка эта не удалась, в эту узкую щель едва могла протиснуться самая худенькая из девочек, да к тому же не отягощенная толстым пальто.

Был удачный день, когда ей удалось проскочить перед старой учительницей Антониной Владимировной, изобразившей своим восточносибирским лицом крайнее удивление по поводу такой невоспитанности.

День ото дня аттракцион развивался. На него собирались поглазеть все, кому не жаль было времени. Зрителей день ото дня становилось все больше, и как раз накануне они были вознаграждены захватывающим зрелищем: Лиля предприняла отчаянную и почти удачную попытку перелезть через школьную ограду, увенчанную плоскими чугунными пиками. Сначала она просунула между прутьями свой портфель, а потом поставила ногу в заранее намеченном месте, где несколько прутьев было изогнуто. Она долезла до самого верха, перекинула одну ногу, потом вторую и тут поняла, что сделала ошибку, не развернувшись заранее. Замирая от страха, она проделала разворот и медленно потекла вниз, прижимаясь лицом к ржавому железу.

Пола ее пальто зацепилась за пику, натянулась. Сначала она не поняла, что ее держит, потом рванулась. Честный коверкот старого профессорского пальто, доживающего свою перелицованную жизнь на юном пухлом теле, напрягся, сопротивляясь каждой своей добротной крученной ниткой, напружинился.

Восторженные наблюдатели загудели, Лиля рванулась, как большая толстая птица, и пальто отпустило ее, издав хриплый треск. Когда она сползла на землю, Бодрик стоял возле нее, держа в руках испачкавшийся портфель, и ласково улыбался:

– А ты молодец, Лилька. Изворотливая. А еще слазишь?

И обманным охотничьим движением он подбросил ее портфель как легонько, но кисть его была точна, как у австралийского аборигена. Портфель взвился вверх, качнул боками, развернулся в воздухе и шлепнулся по ту сторону ограды. И все засмеялись.

Лиля подняла упавшую шерстяную шапочку с двумя глупыми хвостами и, не оглядываясь, все силы собрав на то, чтобы не бежать, пошла к дому.

Ее не преследовали. Через полчаса преданная Нинка принесла ей вытертый носовым платком портфель и сунула его в дверь.

Утром Лиля пыталась заболеть, пожаловалась на горло. Бела Зиновьевна заглянула ей в рот, сунула под мышку градусник, поймала взглядом исчезающий столбик ртути и хмуро вынесла приговор:

– Вставай, девочка, надо работать. Всем надо работать.

В этом состояла ее религия, и богохульства лени она не допускала. Лиля уныло поплелась в школу и просидела три урока, томясь неизбежностью прохода через адовы врата. А на четвертом уроке произошло нечто.

Было всего лишь первое марта, и руль непотопляемого корабля не выпал еще из рук Великого Кормчего. Александр Ааронович и Бела Зиновьевна, если бы узнали об этом невероятном поступке от скрытной Лилечки, высоко бы его оценили.

Итак, на четвертом уроке, ближе к концу, Антонина Владимировна, сверкая самой одухотворенной частью своего лица, железными зубами, состоящими в металлическом диалоге с серебряной брошечкой у ворота в форме завитой крендельком кашки, взяла в руки полуметровую полированную указку и направилась к пыльному пестрому плакату в торце класса. Держа указку как рапиру, она ткнула ее концом в негнущееся слово «интернациональный».

– Посмотрите сюда, дети, – она так и говорила: «дети», не гимназическое «девочки», не безликое «ребята», – здесь изображены представители всех народов нашей великой многонациональной родины. Видите, здесь и русские, и украинцы, и грузины, и... – Лиля сидела вполоборота назад в тихом ужасе – неужели она сейчас это произнесет и весь класс обернется к ней? – и татары, – продолжала учительница.

Все обернулись на Раю Ахметову, лицо ее налилось темной кровью. А Антонина Владимировна все неслась по опасному пути:

– И армяне, и азербайджанцы, – так и сказала «азербайджанцы»... мимо, мимо... нет!.. – и евреи!

Лиля замерла. Весь класс обернулся в ее сторону. Дура святая, чистопородная разночинка, от деда-пономаря, от матери-прачки, дева чистая, с медсправкой «виргина интакта», с удочеренной в войну сиротой, косой и злой Зойкой, поклонница Чернышевского и обожательница Клары Цеткин, Розы Люксембург и Надежды Константиновны, верующая в «материю первична», как ее дед-пономарь в Пречистую Богородицу, честная, как оконное стекло, она твердо знала, что враги – врагами, а евреи – евреями.

Но величия этого поступка Лиля тогда не поняла. Голым просветом между коротким чулком и тугой резинкой ненавистных голубых штанов на щекочуще-китайском начесе она прилипла к выкрашенной маслом парте.

– И все народы у нас равны, – продолжала Антонина Владимировна свое святое учительское дело, – и нет плохих народов, у каждого народа бывают и свои герои, и свои преступники, и даже враги народа...

Она еще что-то говорила нудное, лишнее, но Лиля ее не слышала. Она чувствовала какую-то маленькую жилку, как она бьется возле носа, и трогала пальцем это место, соображая, заметно ли это дерганье ее соседке через проход Светке Багатурия.

Возле школьных ворот Лилю ожидала удача: Бодрика не было. С чувством полного и навсегда освобождения, совсем не подумав о том, что он может появиться опять послезавтра, вприпрыжку она понеслась домой. Дверь подъезда, обычно плотно удерживаемая тугой пружиной, была на этот раз чуть приоткрыта, но Лиля не обратила на это внимания. Она распахнула ее и, шагнув со света во тьму, смогла

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya@ludmila.ru различить только темный силуэт стоящего у внутренней двери человека. Это был Бодрик. Это он слегка придерживал дверь ногой, чтобы заранее разглядеть входящего.

Их разделяли теперь два шага полной тьмы, но она почему-то увидела, что стоит он прижавшись спиной к внутренней двери, раскинув крестом руки и склонив набок густо-русую голову.

Он был актером, этот Бодрик, и теперь он изображал что-то страшное и важное, думал, что Христа, а на самом деле был маленьким, дерзким и несчастным разбойником. А девочка стояла напротив со скорбно-семитским лицом – высоким переносьем тонкого носа, книзу опущенными наружными углами глаз, с нежно-выпуклым ртом, с тем самым лицом, какое было у Марии Иосиевой...

– А зачем ваши евреи нашего Христа распяли? – спросил он ехидным голосом. Спросил так, как будто распяли евреи этого Христа исключительно для того, чтобы дать ему, Бодрику, полное и святое право шлепать Лильку по заду ржавыми железными воротами.

Она замерла в ожидании, словно забыв о возможности выскочить на улицу, сбежать немедленно. Ведь дверь парадного была у нее за спиной. Она почему-то стояла столбом.

Бодрик шагнул к ней, обхватил крепко, скользнул руками вниз и, задрвав незастегнутое пальто, попал рукой как раз на этот голый промежуток между чулком и подтянутой к самому паху резинкой от штанов.

Она вывернулась, метнулась в угол, ткнула Бодрика в какое-то уступчивое место портфелем. Он охнул, а она, в полной темноте сразу попав пальцами в дверную ручку, выскочила на улицу. Плотное розовое пламя вспыхнуло в голове, весь воздух вокруг воспламенился, и все залилось такой красной могучей яростью, что она задрожала, едва вмещающая в себя огромность этого чувства, которому не было ни названия, ни границ.

Дверь медленно открылась. Плечом вперед, чуть косо, выходил Бодрик. Она бросилась на него, схватила его за плечи и, взыв, со всей силой трянула о дверь. От неожиданности нападения он совершенно растерялся. То сложное чувство, которое он к ней давно испытывал, смесь тяги, злости, неосознанной зависти к ее сытой и чистой жизни, по своей силе и внутренней оправданности не шло в сравнение с тем огненным взрывом ярости, который бушевал в ее душе.

Он пытался оторвать ее от себя, стряхнуть, но это было невозможно. Он даже не мог как следует размахнуться, чтобы ее треснуть. Ему удалось только переместиться за угол от парадного, в некую слепую выемку стены, где они не были видны всем проходящим по двору. Но это было не к лучшему. Она трясла его за плечи, голова его ударялась о серый шершавый камень, он лязгал зубами, и единственное, что он смог, – выпростав руку, смазать ее два раза по мокрому красному лицу, причем не по-мужски, кулаком, а всей распушенной пятерней, оставив на ее лице четыре грубые грязные царапины. Но она этого не почувствовала. Она все кидала его о стену, пока вдруг ярость ее, как надувной красный шар, не оторвалась от нее и не улетела. Тогда она отпустила его и, повернувшись незащищенной спиной и вовсе не думая о возможном нападении сзади, беспрепятственно ушла в свое парадное...

...Как он нравился ей минувшим летом! Она стояла за тюлевой занавеской бабушкиной комнаты и часами наблюдала, как он размахивал длинным шестом с развевающейся на конце тряпкой, как его голуби, лениво поднимаясь, сначала беспорядочной неопрятной кучей вились над голубятней, а потом выстраивались, делали широкие плавные круги, всё шире, шире, и уносились в чисто вымытое теплое небо. Проходя мимо их жилья, двухоконного низкого строения с прилепленной голубятней, сараем и курятником, она замедляла шаг, разглядывая увлекательные внутренности чужой частной жизни: их железные бочки, верстак, у которого работал старший Бодров, вышедший тогда на временную свободу из своего обычного заключения, лежащую на земле где-то свинченную ржавую колонку...

В конце лета Бела Зиновьевна, неуклонно исполняющая какие-то анахронические, ей одной ведомые обязательства богатых перед бедными, послала Лилу в дом дворничихи с жестко отглаженной, аккуратно сложенной стопкой ее, Лилечкиных, вещей, из

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru которых в этом году она так стремительно выростала. Девочки Бодровы, Нинка и Нюшка, с визгом и шумом разделили Лилю добро, Тонька-дворничиха поблагодарила и сунула Лилю в руку маленький зеленый огурец, а Бодрик, еще издали завидев Лилю, убрался к своим голубям, кроликам и цыплятам и не показался во все время, что Лиля оставалась в их отгороженном от общего двора загоне. А Лиля все поглядывала в ту сторону, не выйдет ли...

И только теперь, в парадном, она поняла, что в этом и было самое ужасное.

Старой Насти, жившей у них лет двадцать, дома не было. Прадед, к которому было сунулась Лилечка, безучастно спал, изредка всхрапывая. Она забилась в бабушкину комнату, на «горестный диванчик», как называла Бела Зиновьевна кресло-рекамье, единственный неодвоенный предмет в своем царстве парности, где все двоилось, словно комната была перегорожена вдоль невидимым зеркалом: две гордые кровати с бронзовыми накладками, две прикроватные тумбочки, две одинаковые рамы чуть разнящихся между собой картин. На этом «горестном диванчике» спала обыкновенно Лиля во время болезни, когда бабушка забирала ее в свою комнату. Сюда приходила поплакать, когда случалось в ее детской жизни какое-нибудь огорчение.

Сейчас ее знобило, ныло внизу живота, и она свернулась на диванчике, укрывшись с головой тяжелым клетчатым халатом с витым, местами отпоротым лиловым шнуром. Ей хотелось уснуть, и она мгновенно уснула, все держа в голове не уходящую и во сне мысль: как хочется уснуть...

Сон был хоть и долгий, но весь застывший на одной ноте – нудной боли и безмерного отвращения. Отвращения к шершавой ткани диванной подушки, к мыльному, неприлично исподнему запаху «Красной Москвы», любимых бабушкиных духов. И все это покрывалось безмерным желанием уйти ото всего этого в какую-то круглую, теплую, давно ей знакомую щель и погрузиться там в сон более глубокий, где нет ни запахов, ни боли, ни тревожного стыда, неизвестно откуда взявшегося. Туда, где ничего, совсем ничего нет.

Она не слышала глухой суеты за стеной возле деда, Настиных всхлипов, тихого звяканья шприца.

Поздно, в восьмом часу вечера, ее разбудила бабушка, и оказалось, что ей все-таки удалось уйти совсем далеко, потому что, проснувшись, она не сразу сообразила, где находится, – из такой далекой дали вернулась она в бабушкину комнату, в парно-симметричный и правильный мир, и поразилась склоненному над ней яркому лицу, которое было словно перевернутым и неузнаваемым, как будто просторы сна, в котором она пребывала, были по природе своей столь убедительно единственными, что исключали и самую возможность какой бы то ни было парности, симметрии.

Бела Зиновьевна, со своей стороны, с изумлением разглядывала четыре свежие царапины, которые шли ото лба через щеки к самому подбородку.

– О господи, Лиля, что с твоим лицом? – спросила Бела Зиновьевна.

Девочка на минуту задумалась – так глубоко она забыла дневное происшествие. Потом оно всплыло, все разом, со всей предыдущей неделей и прошлым летом, но всплыло в совершенно неузнаваемом, измененно-ничтожном виде. Все оно было чепухой, незначительной мелочью и давним-давнишним полузабытым событием.

– Ерунда, с Бодриком подралась, – беспечно, улыбаясь сонным лицом, ответила Лиля.

– То есть как – подралась? – переспросила Бела Зиновьевна.

– Да глупости какие-то, зачем Христа распяли... – улынулась Лиля.

– Что? – сведя свои черные брови, переспросила Бела Зиновьевна. И, не слушая ответа, велела ей немедленно одеваться.

Отблеск того гнева, что обуял Лилю около подъезда, взметнулся над ее бабушкой.

– Какая низость, какая черная неблагодарность, – клокотала Бела Зиновьевна,

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya@ludmila.ru волоча за руку упирающуюся Лилечку к бодровскому жилью. И дело было, в конце концов, не в аккуратных тридцатках, которые Бела Зиновьевна пунктуально преподносила на праздники этой опустившейся несчастной пьянчужке, и не в стопочках старых Лилечкиных, очень еще приличных вещей, а дело было в том, что по симметрическим понятиям ее справедливости не мог Тонькин сын руку поднять на ее чистенькую, ясную девочку, на ее розово-смуглое личико, оскорбить ее своим грязным прикосновением, этими ужасными царапинами. Надо было, кстати, перекисью промыть...

Бела Зиновьевна постучала и, не дожидаясь отзыва, распахнула кривую дверь. В комнате с большой печью, с низко натянутыми веревками с сырым бельем как-то не сразу можно было и разглядеть, где что, где кто. Пахло еще хуже, чем от «Красной Москвы», самым что ни на есть страшным низом – мочой, гнилью, грибом и водорослью.

– Тоня! – повелительным голосом окликнула Бела Зиновьевна, и за печкой что-то зашебуршало.

Лиля озиралась по сторонам. Больше всего ее поразил пол. Он был земляной, кое-где покрытый неровными досками. В углу, на железной широкой кровати с ржавыми прутьями, точно такими же, что на школьной ограде, на пестром одеяле лежал Бодрик. В ногах его сидели Нинка с Нюшкой и наматывали на спинку кровати широкие мятые ленты, старательно оплевывая их перед тем, как сделать очередной виток. Возле кровати на полу стоял кривой, потерявший былую округлость таз.

Из-за печки, оправляя на ходу юбку, вышла, слегка покачиваясь, низенькая Тонька.

– Тут я, Белзиновна! – Она улыбалась, и на каждой щеке ее широкого плоского лица промялось по большой и круглой, как пупок, ямке.

– Ты посмотри-ка, что твой Виктор с моей девочкой проделал! – строго сказала Бела Зиновьевна, а Тоня тарщила свои белесые глаза и все никак не могла понять, что ж такое он проделал.

В тусклом освещении царапины, так оскорбившие Белу Зиновьевну, были вообще не заметны. Лиля пятилась задом к порогу. Ей было стыдно. Витька мотнул головой, свесился с постели и тихо блеванул в таз.

– Ах ты зараза! – повернувшись к сыну, крикнула Тонька. – А ну вставай, чего разлегся!..

Они обе молчали, когда шли через двор. Лиля опять тащилась позади, и снова ей было так же тяжело, как днем, перед тем как уснуть. Дома она зашла в уборную, заперлась на крючок и села на унитаз, обхватив руками ноющий живот. Так плохо ей никогда еще не было. Она посмотрела на свои спущенные штаны и увидела на их поднебесной синеве кровавое тюльпановое пятно.

«Я умираю, – догадалась девочка. – И так ужасно, так стыдно».

В этот момент она забыла обо всем том, о чем бабушка ее предупреждала. С отвращением стянула с себя испачканные штаны, сунула их под перевернутое ведро для мытья полов и, опустив исцарапанное лицо в холодные ладони, со стекленеющим сердцем стала ждать смерти...

А смерть, подгоняемая ожиданием, действительно входила в дом. На ковровой кушетке делал последние редкие вздохи старый сапожник Аарон. Он был в забытьи. Веки, давно утратившие ресницы, были закрыты не совсем плотно, но глаз его видно не было, только мутная белесая пленочка. Иссохшие руки лежали поверх одеяла, и на левой были намотаны изношенные кожаные ремешки, которые он, вопреки обычаю, месяц как не снимал. Дети его, профессора, обремененные многими медицинскими познаниями, такими громоздкими и бессмысленными, стояли у его изголовья.

В дворницкой, на железной кровати, лежал Бодрик. У него было сотрясение мозга средней тяжести.

На узкой кушетке, в своем подмосковном доме, укрытый до половины старым солдатским одеялом, лежал мертвый человек.

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru
Но было еще только второе марта, и пройдет несколько огромных дней, прежде чем выйдет на деревянные подмости Лилечкин отец, сын приличных родителей, отекий, с черным от горя сердцем и невинно-голубыми погонами, и объявит многотысячному серому прямоугольнику – той части великого народа, что терялась в обесцвеченной немощной полиграфией дали на пестреньком плакате в торце Лилечкиного класса, – о том, что он умер.

А про запершуюся в уборной девочку в ту ночь забыли.

Ветряная оспа

На добротный и широкоплечий американский сундук с металлическими скобами и ручками в торцах девочки побросали потертые на задах ледяными горками шубы, скукоженные варежки, скрученные шарфы и мокрые рейтузы. Одежда их так вымокла и заледенела за тот час, который шли они от школы к Алениному переулку – через два проходных двора, мимо барачного городка с нежным именем Котяшкина деревня и страшной полуразрушенной церкви. Дорогой они немного поиграли, немного поспорились, гордая Пирожкова обиделась и ушла, толстая Плишкина побежала ее возвращать и тоже исчезла. Их подождали минут пять в Аленином дворе, но, так и не дождавшись, вошли в подъезд.

Дом был во всем районе лучшим, архитектурным, с башенками на углах крыши и с лифтом. Впятером девочки набились в лифт, потопали, попрыгали, и он отозвался чугунным вздрогом.

Бедная Колыванова, жительница Котяшкиной деревни, окоченела от страха: в лифт она попала первый раз в жизни. Гайка Оганесян, обещавшая стать со временем восточной красавицей, нажала на белую выпуклую кнопку «б», а ее сестра-близнец Вика, красавицей стать вовсе не обещавшая, ровно через мгновение нажала на кнопку «стоп», и лифт, грузно поднявшись на полметра, остановился. Глаза у Колывановой выпучились и стали похожи на эмалированные кнопки с черными цифрами в середине.

Гайка весело взвизгнула. Лиля Жижморская, по прозвищу Жиж, потянулась к кнопкам, но Вика ее оттолкнула. Чельшева Мария расстегнула портфель – она сегодня была дежурной и потому не успела зайти домой, – вытащила из портфеля чернильный карандаш и деловито помусолила его во рту. Пока возле кнопок шла ватно-тяжелая зимняя возня, она маленькими кривыми буквами выводила на деревянной раме зеркала ужасное слово из пяти букв, которое до конца своей жизни она ни разу не произнесла вслух. Слово это представлялось ей противно-коричневым, с бездонным провалом посередине и похожим на вывернутую наизнанку клизму.

Колыванова, научившаяся произносить его непосредственно после слова «мама» и практически знакомая со многими другими словами, изумленно сморгнула.

Она, конечно, не знала, что приглашена была в гости исключительно благодаря припадку демократизма, случившемуся у Алениной матери при обсуждении списка Алениных гостей. Дипломатическая мама, совершенно для себя неожиданно, обнаружила, что теория равенства и братства, последовательно прививаемая ребенку чуть ли не от самого рождения, проросла непредусмотренными плодами: Алена исключительно тонко оценила имущественное равенство нескольких наиболее обеспеченных девочек из класса и именно их избрала для братского и равноправного общения.

В результате Алена получила незамедлительное внушение, и в число приглашенных по родительскому настоянию была включена бедная Колыванова.

Пока девочки возились в лифте, толкались и прыгали, Алена, уткнувшись носом в подушку, тихо лежала в алькове, на широченной родительской кровати, отделенной от мира плотно задвинутой шторой.

Русская девочка Алена Пшеничникова была отчасти американкой: она родилась в стерильной клинике в Вашингтоне, где во время войны исправлял дипломатическую службу ее отец. Хорошая сибирская порода отца, качественное детское питание и гигиенически правильное воспитание, без российского расслабляющего кутанья и баловства, сделали из Алены идеального ребенка: с густыми блестящими волосами, крепкими белыми зубами и чистой розоватой кожей. Россыпь веснушек поперек курносого носа и неизвестно почему по-американски выпирающие зубы, не

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru подправленные еще корректирующей пластинкой, были последними и окончательными штрихами этой американизации. Но об этом мало кто догадывался, разве что отцовские сослуживцы, имевшие опыт заокеанской жизни.

Веселая и здоровая девочка Алена плакала, отчаявшись дождаться своих вероломных гостей. Елка была густо увешана несказанной красоты игрушками, был накрыт стол на восемь персон, под каждой тарелкой лежала бумажная салфетка с Микки-Маусом, еще неизвестным в здешних широтах зверем, а на тарелках лежали подарки, завернутые в бумажки большой красоты.

Но часы уже показывали начало шестого, гости приглашены были на четыре, и Алене ясней ясного было, что никакого праздника не состоится, – и потому грохот лифтовой двери, галдеж на лестничной площадке и неугасающая трель звонка показали ей голосом счастья. Она вскочила с кровати, подтянула съехавшие белые носки-гольф с кисточками, расправила бордовое бархатное платье, купленное когда-то матерью впрок с многолетним запасом, а теперь уже тесное, и побежала открывать.

Все девочки, кроме Колывановой, уже бывали в этом волшебном замке отдельной двухкомнатной квартиры, в которой одна комната была таинственно и неизменно заперта, что придавало этому жилью еще больше привлекательности. Можно было только гадать, что же хранится в той, запертой, если жилая была переполнена нездешними драгоценностями: морскими ракушками, игрушками из перьев и цветного стекла – бесхитростный выбор железнодорожного рабочего, вынесенного социальным ветром в дипломатическую службу.

Девочки, озираясь, топтались возле стола. Сестры Оганесян еще возились в прихожей возле сундука, потому что из четырех туфель, уложенных бабушкой в хозяйственную сумку, осталось почему-то только три. Гайка ожесточенно трясла пустую сумку в надежде вытряхнуть недостающий предмет, а Вика торопливо застегивала пряжки, чтобы таким образом право на потерявшуюся туфельку полностью оставалось за сестрой.

Так и вошли они в комнату в трех туфлях на двоих, и девочки покатались со смеху.

– Там, в бумажках, всем подарки. Где кто сядет, то и берет, – объявила Алена.

По размеру сверточки были не больше спичечного коробка, все почти одинаковые, но обертки разноцветные, красные, золотые, и перевязаны были подарки цветными шнурками, тоже необыкновенными – пестрыми и шелковисто-жесткими. Внутри тоже оказалась не чепуха: пластмассовые брошки, все разные, только Гайке с Викторией достались одинаковые – гном в красном колпачке с корзиной за спиной. Еще была Красная Шапочка, принцесса, корзинка с цветами и лебедь в короне. Колыванова получила самое лучшее – белого ангелка с золотыми крыльями. А два подарка остались нераскрытыми, пирожковский и плишкинский. Все хотели их раскрыть, но Алена не разрешила.

Девочки проткнули себя длинными булавками, к которым были припаяны эти чудеса, и окончательно сели за стол. Угощение было почти совсем обыкновенным: бутерброды, пирожные, ваза с домашним печеньем. Но вилочки, двузубые пластмассовые вилочки торчали из желтых сырных и розовых колбасных спинок бутербродов, и это было невиданно шикарно. И лимонадом грушевым весь подоконник был заставлен.

– Ален, а вилочку можно взять? – поинтересовалась Вика.

Всем про это хотелось спросить, но остальные не решились.

– Не знаю, – растерялась Алена, – это надо у мамы спросить.

– Я только одну, красненькую, – попросила Вика.

– Ты бессовестная, ужас просто, – шепнула Гайка на ухо сестре.

– А ты молчи. Золушка, – фыркнула Вика, и опять все засмеялись. Гайка покраснела. Вика была язва, бабушка ее так и называла.

Голодной была только Челышева. У нее на тарелке лежало множество вилочек, а она все тягала и тягала. Колыванова голодной не была, но ей тоже хотелось, чтобы

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru разноцветные вилочки лежали у нее на тарелке. Да она стеснялась брать. Стеснялась она также своего большого роста, больших материнских ботинок, чулок с заплатами и, главное, красной сестриной юбки, которую сама же долго выпрашивала. Так и лежала у нее на тарелке только обертка от подарка. Ангелка же она приколола к ковбойке и придерживала на всякий случай, чтоб не потерялся.

– Она сейчас вилочку проглотит! – закричала Вика, указывая на Челышеву, обкусывающую по краю бутерброд. Голову Мария наклонила так низко, что русые косички с распустившимися лентами лежали в тарелке.

Вика схватила вилочки с ее тарелки и засунула все черенки в рот, так что наружу торчали разноцветные зубья.

– Как ты себя ведешь, бессовестная, – громко зашептала Гайка.

– А тебе какое дело, мне так родина велела! – шепеляво ответила Вика, и опять все покатались со смеху.

Не смеялась только Лиля Жижморская. У нее между форменным платьем и фартуком лежал сюрприз, и она терпеливо ждала подходящей минуты. Ей казалось, что минута эта не настала еще, и она нащупывала пальцами пачечку, но в это время Вика вылезла из-за стола и вытащила из алькова, с многоспальной кровати, большого нежного мишку – узкоплечего, с толстым задом и волнисто-плюшевым телом.

– Это Тедди, – назвала его Алена.

– Точь-в-точь дядя Федя, – немедленно отозвалась Вика.

И опять все засмеялись. Он действительно и грушевидностью фигуры, и загадочной целенаправленностью высунутой вперед морды смахивал на школьного дворника дядю Федю.

Вика посадила медведя к себе на колени и стала кормить его с вилочки...

Всем было по десять, только Колывановой уже исполнилось одиннадцать, и они по обязанности своего зрелого возраста вынужденно расставались со своими куклами. Новые, книжно-школьные обстоятельности превращали кукольную игру во что-то детское и постыдное, требующее укрытия. Хотя бы под ночным одеялом. Даже у серьезной Жижморской была такая подподушечная куколка, которую она по утрам прятала на книжную полку, за учебники. Одна только Вика, страстная душа, влюбленная в каждое свое ежеминутное желание, ничего не стеснялась. Она усадила медведя на колени, прижала к боку и сладким голосом начала его уговаривать:

– Еще ложечку, мишенька! За маму! За папу! – И, не выдерживая заранее известной роли, сбивая весь серьезный обряд кормления в потеху, добавила: – За всех мишек в зоопарке!

Глаза у них с мишкой были совершенно одинаковые: коричневые, пуговично-блестящие, с нежной розовой обводкой.

Хозяйка же, не стерпев искушения, уже вытягивала из ящика раздвижного дивана целую труппу разнокалиберных фигуранток. Алена уже несколько месяцев к ним не заглядывала и испытала теперь мгновенную сладость встречи с Элис, Кити, Бетси, Джун – американскими красотками, уже чуть двинувшимися в том опасном направлении, где спустя несколько десятилетий их ждала полная и окончательная смерть в виде миллионной армии Барби, похожих между собой, как сторублевки.

Гайка вцепилась в длиннокудрую Бетси. Вика, безжалостно бросив медведя, ухватила себе чернокожую Джун, пламенный ротик которой был завлекательно – с точки зрения кормления – приоткрыт, и оттуда, из красной глубины, мерцали настоящие фарфоровые зубки.

На колени Колывановой великодушная Алена положила младенческую Кити в ползунках, с болтающейся впереди крошечной, но вполне настоящей пустышкой и с изумительными искусственными глазами пестро-голубого цвета.

Жижморская и Челышева деликатно, но настойчиво тянули каждая в свою сторону длинноногую Элис, и та совсем по-человечьи мотала льняным хвостом, завязанным на

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
маковке...

Алена отобрала у них Элис, свою всегдашнюю старшую дочку, и вынула из прямоугольной диванной темноты еще двух кукол – кудрявую барышню в пелерине и куклу-мальчика в матроске и совсем настоящих кожаных ботиночках на пуговицах. Эти две куклы были старинными.

Все дружно вдохнули и выдохнули. Эта пара была так небесно прекрасна, что до них и дотронуться было страшно, не то что вступать в интимно-родственные отношения, необходимые для игры. Что и подтвердила немедленно Алена:

– Мама мне их никогда не давала. Говорит, это семейная лериквия, а не игрушка.

Алена иногда путала трудные слова.

Девочки склонились над лежащей на краю кровати парочкой и осторожно потрогали шелковистые волосы барышни, кожаные ботиночки мальчика. Глаза у них, лежащих, были закрыты, но не плотно. От длинных ресниц ложилась зубчатая тень на фруктово-ягодный румянец щек. Алена вела одноклассниц как экскурсовод:

– Ресницы моя мама им подрезала, когда была маленькая. Маме было обидно, что они слишком уж длинные. В Самаре, где бабушка жила, у них был дом деревянный, и еще до революции дом сгорел, все-все сгорело, а на другой день пришла знакомая портниха и принесла этих кукол, потому что Счастливчику пальтишко шила, а Княжне новое платье. Бабушка им тогда заказала новую одежду, потому что моя мама должна была родиться. И оказалось, что это было все, что после пожара осталось.

От этих слов девочки совсем уж притихли, и даже трогать кукол расхотелось. И посреди задумчивой тишины раздался вдруг звонок в дверь.

– Мама ваша, – в тихом ужасе прошептала Колыванова.

Алена пожала плечами:

– Нет, это не мама. Они сегодня поздно придут, у них вечер в министерстве.

Действительно, пришли Пирожкова с Плишкиной. Толстая Плишкина все-таки уговорила Пирожкову и сияла теперь ангелически-дебильной улыбкой, и пухлые щеки ее промялись глубокими ямочками и складочками.

Гордая Пирожкова, младший отпрыск знаменитой цирковой семьи, давно уже запущенная в семейную стезю акробатики, небрежно взяла Счастливчика и сказала равнодушным голосом:

– У меня точно такой же есть.

«Врет», – подумали все.

– Врешь! – сказала Вика.

Только что они были готовы тронуться в стройно-вымышленную жизнь, где правка неудовлетворительной реальности игрой превращает эту реальность в справедливую и упоительно-податливую, и весь мир покорно ходит по кругу, куда его пошлют: то на охоту, то на базар, и послушные дети, кротко приняв условно-заслуженное наказание, смиренно подчиняются божественной воле мамы.

Но теперь играть почему-то расхотелось.

Это и была та минута, когда Жиха достала свой сюрприз и торжественно произнесла:

– Смотрите, что у меня есть!

Сначала показалось, что ничего особенного. Это был всего-навсего набор довольно старых открыток. Лиля разложила их на покрывале, и девочки встали на колени перед кроватью, чтобы их рассмотреть.

Там была сумрачная красота. Из лиловых и желтых одежд выглядывали длинноносые красавицы с почти сросшимися глазами под одной, с изгибом над переносицей,

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru
бровью. Замершие жесты их вывернутых рук и сложноподчиненных ног были гимнастическими и неестественными.

У той, что сидела с сазом, были золотые браслеты на лодыжках, туфельки как золотые перчатки, и соски двух нестерпимо голых грудей тоже были золотыми.

Одна танцевала, другая любовалась своим отражением в круглом бронзовом зеркале; две обнимались, сплетя ошарованные ноги. Впрочем, возможно, одна из них была мужчиной, но это вообще значения не имело.

Некая в густо-желтом, с огромным зеленым камнем на лбу, держала в руках – о господи! – книгу, тогда как второй изумруд выглядывал из пупка. Еще одна томно обнимала маленькую газель с девичьим лицом. Там были причудливые золотые клетки с вымышленными птицами, стоящими в родстве с орхидеями, преувеличенные гранаты на карликовых деревьях, драгоценные фонтаны с синей, вертикально замершей водой, кувшины, веера и шкатулки. И пухлый седобородый старец в синем звездном халате и в головном уборе, напоминающем громоздкий абажур. В середине его маленькой, неправдоподобно отогнутой ладони стояла рослая змея, подогнув под себя конец сложенного крендельком толстого хвоста.

Все на этих наивных картинках взаимно любило и ласкало, всякое прикосновение рождало наслаждение: шелка к коже, пальцев к кувшину, веера к воздуху, и это любовное притяжение материи, мощное и невидимое, как жар от печи, изливалось наружу, пронзив девочек с силой и новизной и требуя от них чего-то, а чего именно – неизвестно.

– Сейчас! Сейчас! Я знаю! У меня есть! – догадалась Алена и понеслась, скользя на плоскородных кожаных подошвах, в коридор, к сундуку, заваленному густо воняющей мокрой шерстью и мехом.

Она сбросила всю эту гору на пол и маленькими пальцами с глубоко обрезанными ногтями стала отковыривать глухую плоскую защелку сундука. Та медленно, с большим протестом, подалась. Вторая уже не сопротивлялась.

Стоя по колено в куче скомканной одежды, Алена с трудом подняла крышку, и на всех повеяло сладким нафталиновым духом. Несколько насмерть убитых иностранных газет лежали сверху. Алена сдернула их и нырнула в сундук, сверкнув ярко-белыми трусиками.

Она вынимала распластанные вещи одну за другой: черное бархатное платье с вышитым как будто рыбьей чешуей лифом, еще одно вечернее платье, с гербарным букетом у сердцевидного выреза, и целую кучу капитулировавшего некогда шелка: бледно-табачное кимоно на алой, в багровых хризантемах подкладке, еще кимоно и целый выводок шелковых пижам невозможных в этих широтах оттенков.

Девочки с благоговейной осторожностью, как сонных детей, передавали с рук на руки эту драгоценную шелуху, вышедшие из моды туалеты дипломатической жены, чувствовавшей себя комфортно исключительно в темно-синем бостоновом костюме, с его добротной двубортностью и почтительной преданностью телу и делу.

Сам дипработник, жарко влюбленный в жену и исполненный нескончаемой благодарности за то неопишное счастье, которое он ежевечерне находил в одном и том же никогда не приедавшемся ему месте, в те американские годы щедро заваливал ее недорогими американскими туалетами. Жена не нуждалась в конфекционной стимуляции, но благосклонно ее принимала, в результате чего большая часть его военно-дипломатических заработков была претворена в шелк, бархат и вискозу. Нейлон тогда еще только собирали по молекулам.

Эту материализованную благодарность и восхищение давних лет раскладывали теперь десятилетние девочки на счастливом супружеском ложе, меж прекрасных, немецкой печати, репродукций поздней иранской живописи. Ни видом, ни цветом, ни запахом не сопрягалось одно с другим, но это и не имело никакого значения, потому что вся прелесть этой игры в том и состоит, что она творится из любого подручного материала, лишь бы только был включен ток высокого притяжения между розовым и голубым, мягким и твердым, влажным и сухим...

Пирожкова Ира, искоса поглядывая на открытку, уже изгибала свой подвижный хребет и не знающие ограничения суставы, чтобы принять ту идеальную позу, которую

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru изобразил никогда не изучавший анатомии художник и принять которую ее живое человеческое, хотя и хорошо тренированное, тело отказывалось.

– Я надена вот то, красное, – решительно сказала Вика и стала натягивать поверх клетчатого байкового платья пунцовую тунику в хищных золотых цветах, – и буду вот той! – и она ткнула пальцем в облюбованную картинку.

– Да ты платье-то сними, – посоветовала сестра, и Вика стянула с себя серо-коричневую клетку.

Исподнее девочек тех лет было придумано врагом рода человеческого в целях полного его вымирания. На короткие рубашечки надевался сиротский лифчик с большими, в данном случае желтыми, пуговицами. К лифчику крепились две ерзающие резинки, которые пристегивались к коротким чулкам, впивающимся в плотные Викины ноги уже под колготками. На все это надевали просторные штаны, именуемые не по чину «трико», и вся эта сбруя имела обыкновение впиваться, натирать красные отметины на нежных местах и лопаться при резком движении. Белье взрослых женщин в ту пору мало чем отличалось и должно было, вероятно, гарантировать целомудрие нации.

– Быстро все переодеваемся! – приказала Алена и, заломив руки за спину, расстегнула трудные мелкие пуговицы, увязающие в еще более мелких петлях.

Пирожкова проворно выскочила из скучной одежды и, сверкнув профессионально мускулистой спиной, сунула ноги в широкие рукава черно-полосатой пижамы и с цирковой лихостью плотно обмотала лишнюю ткань вокруг мальчишеских бедер. Представленная двумя бледными прыщиками будущая грудь требовала достойного прикрытия, и глаза ее под длинной челкой заматались в поисках подходящего предмета.

Челышева, расстегивая коричневое форменное платье, шевелила лисьим носиком с острым подвижным кончиком, прикидывая, что бы ей выбрать, и ее просыпающееся чутье безошибочно остановилось на бледно-табачном.

Колыванова, опустив тяжелые руки, стояла столбом посреди комнаты, осмысливая заманчивое и пугающее предложение.

Лиля Жижморская меланхолично стягивала плотный резинчатый чулок и все поглядывала на открытку со змееупорным старцем. Слабый режиссерский позыв шевельнулся в ней:

– А Плишкина пусть будет волшебником!

Алена возмутилась:

– Какая Плишкина? При чем тут Плишкина? Волшебником будет Колыванова, она самая длинная!

Это прозвучало убедительно, но Колыванова, вцепившись в большую красную юбку, полыхала смущением и никак не могла решиться.

Кукол отодвинули. Та прежняя игра, едва тронувшись в рост, увяла. Разложенные по краю кровати открытки приглашали к новой. Акт переодевания был уже состоявшимся прологом, но условия были неизвестны, и наступила заминка.

Жижа, все еще в одном чулке, некрасиво выглядывающем из-под сладко-розового шелка, обернулась к книжному шкафу и прицелилась обещающим близорукостью взглядом в корешки.

С Колывановой содрали юбку и напялили сине-зеленый халат с большим горящим драконом на спине. Два других дракончика, поменьше, были вышиты спереди, и втроем они вполне заменяли отсутствующую змею. На голову Колывановой надели меховую ушанку Аленино отца, обмотав ее оранжевой пижамой и елочной канителью. Малиновые пижамные штаны, преобразованные в шальвары, выглядывали из-под халата. Неподвижно и величественно стояла Колыванова, пока Алена рисовала ей усы и бороду, макая тонкую кисточку в квадратные фарфоровые отделения с жирной мягкой краской, изъятый из материнского туалетного стола. Усы получились, а борода не удавалась. Пришлось прилепить к подбородку кусок новогодней ваты.

Прозрачная коробка с дешевыми украшениями – девочки называли их блестяшками – была вывернута на стол, и все пошло в ход. Алена, сверкая большим красным стеклом, сползающим со лба на короткий веснушчатый нос, щедро раздавала в протянутые руки кольцо и клипсы.

Все завертелось пестро и стремительно, и само время, дрогнув, отступило. Последующие три часа расстелились вечнозеленым знойным островом в океане равномерных минут и часов обыденности.

Прижимая к животу толстую большеформатную книгу в картонно-жидком переплете, Лиля выскользнула из комнаты и приткнулась в кухне, на табурете, уютно уложив под зад голую ногу.

Книга раскрылась на случайном месте, и Лиля прочла:

«Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный...» Ей понравилось.

Вслед ей из комнаты выплеснулось немного скрипучей патефонной музыки, но Лиля уже ничего не слышала.

Растопырившую острые колени Колыванову усадили на кровати. Она сидела болван болваном. Вата лезла в рот, головное сооружение валилось то на одну сторону, то на другую, и от него было жарко. Пирожкова стояла над ней с голым животом и делала какие-то маленькие движения, которые еще не были танцем, но собирались им стать.

Сестры Оганесян распустили свои конского волоса косы, окончательно зачернили нимало в том не нуждающиеся могучие армянские брови и накрасили густо-красными рты, отчего сразу возмужал детский пушок над верхней губой.

Вика сверилась с открыткой, заключительным движением провела бордовые жирные стрелы от наружных углов глаз к вискам и твердо сказала:

– Ты, Ир, танцуй, ты, Колыванова, сиди, а мы будем жених и невеста.

– Ты дурочка, что ли? – добродушно удивилась Плишкина. – Кто невеста, тот в белом платье.

Пирожкова уже растанцевалась: выламывала крылышки, задирала свои куриные ноги выше головы и не обращала никакого внимания на интересную дискуссию.

– Тебе нравится, ты и надевай белое, а мы так будем. Ты что, не понимаешь, здесь же все турецкое! – объяснила снисходительно Чельшева.

При слове «турецкое» Гайка с Викторией переглянулись: про турецкое они кое-что слышали, и то было дело не сказочное, не шуточное, а страшное и тайно-домашнее, о чем с чужими не говорят.

Плишкиной все-таки была выдана белая простыня – в сундуке не нашлось ничего белого, кроме двух теннисных юбок такого маленького размера, какой Плишкиной никогда не суждено было носить.

Невест, следовательно, образовалось три, да и Алена уже стягивала за подол расшитое платье, чтобы надеть что-нибудь невестинское.

– Ален, ты что? – забеспокоилась Чельшева. – Ты посчитай, сколько невест получается? Четыре, да? А женихов? Я и Ирка, два!

– Я не буду женихом, я танцовщица! – крутя подбородком и выворачивая кисти, бросила Пирожкова.

Дед ее, воспитатель и тренер, не только веревчато-крепкие мышцы ей нарастил, но и в характер ей вплет такие нити, что любое дело она делала насмерть, дотла, до полного уничтожения. Случалось, он из тренировочного зала выносил ее на руках. Вот и теперь она ввинтилась в этот танец и все раскручивала свое тело, чтобы принять ту позу, которую держала девица на открытке и к которой она все

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru приближалась, но не окончательно. Особенно не получались именно кисти рук.

– Что же я, одна на всех жениться буду? – возмутилась Чельшева.

– Пусть, пусть, даже хорошо, – обрадовалась Алена, отпуская тяжелый подол. – Колыванова будет отец-шах, я шахиня, а они дочери, три сестры и невесты, и мы их разом за одного жениха и выдадим.

Вид у Алены был такой довольный, как будто она первой контрольную по математике написала.

– Нет, вы как хотите, а я так не хочу, я хочу себе отдельного мужа, – разрушила Вика стройный Аленин замысел.

– Да ведь все равно, Вик, играем же, – с глупой и милой улыбкой миротворила, как обычно, Плишкина.

– Раз тебе все равно, вот и будь женихом, а не невестой! – живо отреагировала Вика.

– Хорошо, – легко согласилась Плишкина и стала стаскивать обмотанную вокруг цилиндрического туловища с толстенькими бесполоыми грудными складками простыню. – Я могу и женихом, пожалуйста.

– Отлично! – обрадовалась Вика. – Мой жених будет Чельшева, а Гайкин – Плишкина!

Все уже почти сладилось, но Гайка, которая все искоса ловила в большом зеркале свое отражение в профиль, неожиданно взъерепенилась:

– Нетушки! Машка будет мой жених, а ты бери себе Плишкину!

– То есть как? – изумилась Вика.

– А так... – Гайка влажным взглядом посмотрела на сестру. – Я не хочу Плишкину.

– Это почему же? – угрожающе спросила Вика.

– Не хочу, – кротко, но окончательно заявила Гайка. – Сама бери себе Плишкину.

Плишкина замерла с простыней. Алена сосредоточенно занималась спадающей на нос диадемой. Страшное предчувствие коснулось Вики. Горло ее сжалось так сильно, что пришлось несколько раз глотнуть, чтобы прошло это ощущение замыкания и тесноты. Тень будущего упала в сегодняшнее существование, и тень эта была ужасна: у Гайки оказались какие-то дополнительные права, по которым она без усилий будет получать от жизни то, что Вика должна будет вырывать с боем...

– Нет, – твердо сказала Вика. – Плишкина мне не нужна.

– Значит, как я сказала, – обрадовалась Алена. – Мы трех дочерей выдаем замуж за одного жениха. Зато он королевский сын и зовут его... Мухтар!

– Только не Мухтар! – засмеялась Чельшева. – У нас на даче овчарка Мухтар!

– Тигран, – мечтательным хором произнесли сестры. Был у них троюродный брат в Тбилиси, бровастый, сероглазый, с сиреневым румянцем, просвечивающим сквозь тринадцатилетний пух.

– Давай, давай, пусть Тигран, – согласилась Чельшева.

– А мне чего делать? – робко спросила Колыванова, которой давно уже хотелось в уборную.

– А ты сиди. Я сейчас рядом с тобой сяду, – сказала Алена, и Колыванова, поерзав, снова замерла врозь коленями.

..Потом все опять сели за стол, налили остатки грушевой воды в высокие стаканы и, не найдя среди высыпанных на стол драгоценностей подходящего, стали катать из фольги и цветных ниток обручальные кольца. Стройный жених с кухонным ножом за

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru
поясом держал в горсти целых три, чтобы оделить каждую из сестер, а невесты
стояли у стола в затылок друг другу.

– Горько! – закричала истошно Алена.

Все подхватили. Тигран обменялся кольцами с Викой, поцеловал ее и лихо выпил
лимонаду. Далее последовали Гайка и Плишкина. Три толстых кольца из фольги
украшили мужественную руку жениха. Лимонад допили до последней капли. Свадьба в
общем прошла как-то неубедительно. Явно чего-то не хватало. Впрочем, и во
взрослой жизни тех лет тоже отмечалась какая-то нехватка, заполнявшаяся обычно
пьяным свадебным безобразием, выставшим, как глухая крапива на пустоши.

Гайка же, не заметив незаполненного пространства, уже пеленала на кровати куклу
Кити, по величине приближавшуюся к натуральному младенцу.

– А теперь у меня будет как будто дочка! – объявила Гайка.

– Как же, дочка! Быстрая какая! – заметила скептически Колыванова-шах. – А это
самое? – И она просунула указательный палец правой руки в колечко, сложенное
большим и указательным левой.

Все замолчали.

– Что? – переспросила Гайка.

– Это самое, от чего дети бывают, – уточнила Колыванова, работая указательным
пальцем правой руки в означенном направлении.

Неукротимая Пирожкова, как заведенная, всё продолжала танцевать руками, но уже
перешла в партер. Она лежала на полу, прижав ступни к затылку, и крутила кистями
в надежде их все-таки вывернуть.

– Тань, – просительно, умоляюще сказала Гайка, всей душой надеясь, что ей
удастся переубедить Колыванову. – Ну, женятся мужчина и женщина, и от этого дети
бывают...

– Ты что, не знаешь? – Колыванова покрутила пальцем у виска. – Маленькая совсем,
да?

Плишкина засмеялась, Алена переглянулась с Чельшевой.

– Единожды один – приехал господин, – эпически начала Колыванова, – дважды два –
пришла его жена, трижды три – в комнату вошли, четырежды четыре – свет погасили...

– Да знаю я это, знаю, – перебила ее Гайка.

– Да ничего ты не знаешь, – сурово ответила Колыванова. Не так уж много чего она
знала, но это уж она знала точно... И потому продолжала: – Пятью пять – легли на
кровать, шестью шесть – он ее за шерсть...

– Не надо, – попросила Гайка, но Колыванова жестоко продолжала:

– Семью семь – он ее совсем, восьмью восемь – доктора просим, девятью девять –
доктор едет, десятью десять – ребенок лезет! Поняла, да?

– Это когда... это называется... – забормотала пораженная догадкой Гайка.

Алена была светским человеком и, почувствовав неловкость, сразу нашлась:

– Ты спроси у Лильки, как это называется. Она все знает.

Гайка, прижимая куклу к груди, пошла на кухню. Лиля сидела на табуретке, уже
поменяв ногу, так что болталась теперь голая, и зрочки ее быстро-быстро бегали
по строчкам.

– Лиль, – тронула ее за плечо Гайка, – скажи, только честно, как называется, от
чего дети рождаются?

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru
Лиля подняла отвлеченный взгляд, немного подумала и сказала очень серьезно, немного охрипшим голосом:

– Косинус, – и снова уперлась в книгу. Бабушка ей все честно, по науке рассказала еще в прошлом году.

У Гайки немного полегчало на душе. Косинус – это все-таки косинус, а не то ужасноругательное заборное слово. Однако по дороге в комнату ее неприятно поразила мысль, что, пожалуй, и ее собственные родители, желая произвести их на свет, тоже делали этот косинус... Впрочем, может, есть какой-то более приличный способ, о котором и Лилька не знает...

Она вошла, когда Чельшева, Плишкина и Вика барахтались втроем на кровати, изображая великий акт, а Колыванова, переминаясь с ноги на ногу и снисходительно улыбаясь, махала рукой и повторяла:

– Да не так, не так, и не похоже совсем! И ноги подымать надо!

...Училась Колыванова плохо, в школьной столовой сидела за отдельным столом, где кормили «бесплатников» дармовыми завтраками, форму ей покупал родительский комитет. И всегда у нее чего-то не хватало: то тапочек, то мешка для галош, то физкультурной формы. Последний, совсем последний человек была она в классе. И вдруг оказалось, что она знает о вещах взрослых и тайных, и знает как-то запросто, и таким бесстрашным ежедневным голосом об этом говорит. Из сонной верзилы-второгодницы она на глазах превращалась в очень значительную персону. Все смотрели на нее с выжидательным интересом. Но Колывановой так хотелось в уборную, что она даже не могла оценить своего неожиданного взлета.

– А как, Тань? – спросила Вика, стоящая на четвереньках на кровати.

– Да здесь вообще не годится, – критически постучала Колыванова рукой по кровати. – Слишком широко. Надо, чтоб место было узкое и тесное. И темно.

– Так под столом же! – обрадовалась Плишкина. Колыванова с сомнением подняла край скатерти, заглянула под стол.

– Две подушки надо, – наморщила она лоб. – Ну, и постлать там надо. И сверху чем прикрыть.

Организовали брачное ложе.

– Чур, я первая! – нетерпеливо подпрыгивая, закричала Плишкина.

Жених уже лежал в темном низком доме со стенами из шевелящихся сквозь скатерть полос света, движущихся ног и неподвижных ножек стола и черных стульев, и эта подстольная тьма обязывала его к чему-то страшному и таинственному.

А Плишкина, сдвинув могучим плечом Алену вместе со стулом, шумно лезла под стол. Затолкавшись туда, она тихо хихикнула:

– Эй, жених, где ты?

Своим глупым хихиканьем она сбила все, и жениху пришлось перестроиться:

– Ползи, ползи сюда.

Невеста приползла и полезла обниматься. Она любила всякие объятия, касания и тайные телесные движения. Был у нее некий малый, но приятный опыт. Она обняла жениха, сразу стало тесно и душно.

– Давай по-настоящему поцелуемся, как в кино, – предложила она, – как дяденьки с тетеньками, – и подставила раскрытый рот прямо к носу жениха.

Он пытался вывернуться, но изгородь ног и ножек не выпускала, и ему пришлось приложиться сухо обветренными зимними губами к горячему и мокрому плишкинскому рту. Наверху все было очень тихо.

– Я сейчас покажу тебе, как сделать очень приятно. Так горячо, горячо, –

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya@ludmila.ru
пообещала Плишкина.

Пригнув голову, она села на низкую перекладину, задрала простыню и, положив одну толстую ногу на другую, указательным пальцем влезла в самую середину треугольничка.

– Дай руку, я тебе покажу! – зашептала на ухо Плишкина.

– Дура ты, – фыркнула Чельшева. Она про этот номер и сама знала. Только не знала, что и другим он известен.

Плишкина немного поколыхалась, попытала и сказала обиженно:

– Честное слово, я не вру, так хорошо там делается...

Но жених шарахнулся и выскользнул из-под стола. Плишкина, розовая и влажная, как искупавшийся поросенок, вылезла на поверхность.

– Гайка, полезай теперь ты! – пригласил жених, и Гайка, цепляясь широкими рукавами за спинки сразу двух стульев, нехотя полезла под стол. Жених протискивался с другой стороны.

– Это я, Тигран, – услышала Гайка хриплый шепот. И закрыла глаза. В прошлом году, в бабушкином саду в пригороде Тбилиси, они играли с Викой, а Тигран, пришедший в гости вместе с их общей теткой, смотрел с высокой веранды в их сторону. Вика сказала сестре тихонько, не поворачивая головы: смотри, на нас смотрит.

Гайка знала, что смотрит он именно на нее, и отвернулась. Вика ни с того ни с сего захохотала и, одернув юбочку, сделала «ласточку», высоко подняв крепкую ножку и растопырив руки.

Гайка лежала, сильно сжав веки. Он склонился над ней, опершись одной рукой о подушку возле ее головы и больно прижав прядь волос. Второй рукой он раздвигал колени.

Дыхание перехватило. Такой глубокий и полный ужас она испытывала только во сне, на выходе из младенчества, и, просыпаясь среди ночи с долгим припадочным криком, затихала на руках отца, который часами носил ее по комнате.

Тигран лег на нее сверху.

– Ты не бойся, тебе будет приятно и горячо, – прошептал он.

– Ты что, по правде? – ужаснулась Гайка. – Не надо, Тигран.

– Дура ты! Понарошке, конечно! – засмеялась Чельшева, и тут только Гайка поняла, что никакого Тиграна и не было. И она тоже засмеялась.

Бахрома приподнялась, и просунулось криво повернутое лицо Вики.

– Ну, давай скорее, моя же очередь! – торопила она.

Пока жених осваивал последнюю невесту, Алена деловито привязывала к Гайкиному животу, под лимонную пижаму, большую куклу.

– Так? – уточнила она у Колывановой.

Колыванова кивнула.

«Ну все, сейчас обоссусь», – подумала в отчаянье Колыванова и, плотно сдвигая ноги, пошла к двери.

– Ты куда? – удивилась Алена.

– Домой, – лаконично ответила Колыванова, чувствуя, что у нее внутри все разрывается, и одновременно отметив про себя, что хоть ковра-то она теперь не испортит.

– Еще не доиграли, – растерянно сказала Алена.

– Мамка заругает, – сумрачно ответила Колыванова, почти не разжимая губ. Ей казалось, что, разожми она губы, так и польется. Спросить же, где уборная, ей и в голову не приходило.

– Самое интересное начинается, а ты.. – разочарованно протянула Алена, огорченная потерей столь ценного эксперта.

Но Колыванова уже натягивала пальто, удачно оказавшееся поверх всей кучи. Шапка была в рукаве, а рукавицы и шарф она искать не стала. Оттянув легкий блестящий рычаг замка, она выскочила на площадку. Внизу урчал лифт. Наверху, полупролетом выше, была укромная тьма перед низкой чердачной дверью. Она поднялась туда и, чувствуя, что уже опаздывает, стянула с себя штаны и надетые поверх жгуче-малиновые шаровары, присела, и в тот же миг из нее брызнул лимонад, химически низложенный, но не изменивший своего соломенно-желтого цвета.

«Сейчас поймают», – мелькнуло у нее, и она хотела остановить поток, но это оказалось невозможным. Лифт щелкнул, хлопнул, снова загудел. Ручеек из-под ее подобранного пальто стекал по лестнице вниз, намереваясь предательски излиться на нижнюю площадку, но замедлился и стал растекаться грушевидной лужицей. Она проворно натянула штаны, обтерла ладонями мокрое от незамеченных слез лицо и, грохоча ботинками, понеслась вниз по лестнице легко и свободно, со странным ощущением стремительного движения вверх, а вовсе не вниз. Переживая остатки волнения, едва не состоявшегося позора и чудесной телесной радости, она вприпрыжку бежала домой, где мать ее вовсе не ждала, поскольку вышла сегодня в ночную смену.

И только дома, под ошалелыми взглядами старшей сестры и двух младших братьев, она опомнилась, что убежала в чужом, а сестрина красная юбка и ее новая ковбойка с приколотым на груди ангелком остались у Алены.

А дома, в их узкой комнате с половиной окна, пахло керосином, и старым ночным горшком, и свежими пирогами, которые перед работой напекла мать, и было так хорошо и так плохо, что Колыванова бросилась на материнскую кровать, пережившую на Таниной памяти четырех отчимов, и сверкая золотым драконом на сине-зеленой спине, громко заплакала в подушку.

..Беременные жены лежали поперек кровати и собирались рожать.

– Вика и Плишка пусть мальчишек родят, а Гайка девочку, – высказал пожелание муж, но Алена неожиданно грубо отшила его:

– А ты иди коляску покупай, вот что!

– Ты что, я же принц! Какая коляска! – возмутился незаметным для себя самого способом свергнутый принц Тигран.

– У нас уже давно другая игра, а ты все принц! – дернула плечами Пирожкова, которой в конце концов надоело танцевать и она преобразилась в доктора.

Алена на большой тарелке раскладывала фруктовые ножички из серванта и какие-то неопределенного назначения щипчики.

– Это будут инструменты, – объяснила она, ставя на кровать тарелку. – Все стерильное.

Не так давно ей удаляли аппендикс, память была свежей.

– Да зачем инструменты? – удивилась Плишкина.

– Ты не знаешь? Лилька говорит, что, когда через пиписку не проходит, живот разрезают, – пояснила Пирожкова. – Операцию делают. Очень даже часто. А чего ты так лежишь, ты стони. Это же ужас как больно. Мне мама говорила.

Плишкина громко и очень удачно застонала. Басовито подхватила Вика. Гайке эта игра давно надоела. Придерживая на животе куклу, она вспоминала, как Тигран

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru стоял на веранде и смотрел на нее. «Вырасту и выйду за него замуж», – решила она.

– Ну, давай скорее, надоело! – заныла Плишкина.

– Все, все готово! – докторским голосом сказала Пирожкова. – Штаны снимайте.

Роженицы стянули шелка пижам. Они уже забыли, с чего это они развели все это переодевание, и даже не замечали, что лежат заголенными задками на Лилькиных открытках.

– Ой! Ой! – очень натурально сказала Плишкина. Она была большой притворщицей и натренировалась на своей любвеобильной матери.

Пирожкова тупым фруктовым ножом раздвинула пухлую складку. Бледно-розово и влажно мелькнула моллюсковая изнанка. Плишкина захихикала – щекотно!

Алена стала потихоньку толкать вниз по животу куклу.

– Да нет, не так! Не похоже! – вмешался отосланный было за коляской разжалованный принц. – Лучше вот эту возьми, но откуда надо, по-настоящему! – Ему как отцу хотелось правдоподобия, и он сунул в руку Алене маленького целлулоидного гольша.

– Лилька говорит, они рождаются головкой вперед, – предупредила Пирожкова.

– А я как будто не могу родить, и вы мне делаете операцию, – попросила тщеславная Вика.

– Да подожди ты, сначала я! – рассердилась Плишкина, которую, как ей казалось, все время оттирали.

Пирожкова, под тонкое хихиканье Плишкиной, уже ввинтила гольша в нужное место, и маленькая его головка с парикмахерской прической торчала наружу, как розовый пузырь.

– А теперь схватывайся! Схватки должны быть! – посоветовала Алена, и Плишкина схватилась руками за свои бока.

– Ну, давай, что ли! – торопил врач. – Рожай!

Пирожкова потянула гольша за голову, но Плишкина как-то удержала его внутренним усилием. Тогда Пирожкова надавила на головку, так что она почти исчезла из виду, а потом дернула. Плишкина пискнула:

– Эй, ты чего, больно же!

Ребенок родился. Пирожкова положила его на тарелку рядом с инструментами, и Алена помогла ей совершить запланированную подмену – сунула ей в руки большую куклу, которая, собственно, и должна была родиться, но временно была отставлена.

Плишкина пеленала куклу и капризно требовала:

– Пап! Ну ты давай встречай! Ты должен меня встречать! Из роддома всегда встречают!

У Плишкиной тоже был кое-какой жизненный опыт.

Алена уже делала Вике кесарево сечение, проводя фруктовым ножом поперек живота.

Гайкина очередь так и не подошла, поскольку позвонила бабушка и спросила, не пора ли за ними прийти. Почти одновременно раздался звонок в дверь: за Чельшевой пришла домработница Мотя, и Маша, у которой как раз разболелась голова, без всякого сопротивления дала себя увести – к большой неожиданности для Моти, собиравшейся долго и терпеливо выманить противную девчонку из гостей.

Все вдруг почувствовали себя усталыми. Плишкина даже и проголодалась, доела последние бутерброды. Вилочки лежали на столе, никому не интересные.

Снова зазвонил телефон. Это была Бела Зиновьевна, Лилина бабушка. Лиля ее горячо уговаривала:

– Белочка! Ну еще полчаса, пожалуйста! Мне совсем немного осталось!

– Чего тебе немного осталось? – удивилась Бела Зиновьевна.

– Дочитать. «Старуху Изергиль»... Там совсем немного... так интересно... – умоляла Лиля, такая же розовая и возбужденная, как и все остальные.

Все гости разошлись почти одновременно, и Алене это было очень обидно.

...Пришедшие в половине двенадцатого Аленины родители были ошеломлены: дом был разгромлен, буквально вывернут наизнанку. Только что мебель стояла на прежних местах. Они молча переглянулись. Алена спала на их кровати в алькове, среди смятых открыток и серебряных фруктовых ножей, в старом вечернем платье матери. Отец поднял спящую девочку, и мать увидела, что лицо ее пылает. Она тронула ладонью лоб и покачала головой.

– Аспирин? – тихо спросил муж.

– Минуту погоди, я ей постелю. Потом сообразим. – Она была хладнокровной женщиной, не подверженной панике.

...И Плишкина заболела в ту же ночь. Она сильно металась, сбивая в ком одеяло. Мать простояла над ней до утра. Полупросыпаясь, девочка просила пить, и мать бережно подносила к ее губам синюю фарфоровую кружку с теплой кипяченой водой. Она выпивала и снова оказывалась в том же страшном сне: над ней угрожающе склонялся большой старик с острой черной бородой, дышал на нее горячим воздухом, и был он фининспектором, которого так сильно боялась ее мать, дорогая домашняя портниха, много лет работавшая без лицензии.

К утру Плишкина проснулась окончательно, улыбнулась матери всеми своими очаровательными ямочками и запятыми, выпила еще одну кружку воды. И лицо ее, и большое жидковатое тело было усеяно красными шершавыми звездочками. Она пописала над большим горшком. Внутри немного пощипало, но она не обратила на это внимания. Дефлорация была столь нежной, что самый факт ее никогда не был осознан, и ото всей этой истории остался у Плишкиной на всю жизнь мистический страх перед фининспектором, который склонялся над ней с неопределенной угрозой.

Девочки Оганесян заболели только через сутки, но высокой температуры у них не было, их ветрянка прошла в легкой форме. Высыпание было небольшим, и бабушка сразу же приггла папулы луковым соком, а не зеленкой, как было тогда принято. Бабушка велела им лежать в постели и всячески ублажала и развлекала. Рассказывала о зоках, от которых происходила, и пела зокские уныло-прекрасные песни огромным и тонко вибрирующим на высотах голосом.

Мать девочек, как всегда, безучастно сидела в кресле.

Заболели также Маша Чельшева и Ира Пирожкова. У Колывановой был иммунитет с младенчества.

Лиля Жижморская тоже не заболела. Но и ей в эту ночь снился неприятнейший сон: как будто за ней приехали родители, и почему-то не в городскую квартиру, а на дачу. И она сидит в какой-то телеге и странным образом, спиной, видит за стеклом террасы очень белые лица бабушки и дедушки и замечает, что терраса похожа на вольеру зоопарка – есть какая-то дополнительная железная сетка за стеклом, как в обезьяннике. Телега начинает двигаться сама собой, но это почему-то не вызывает удивления. Сама Лиля сидит между родителями. Мать придерживает ее крупной рукой, а рука ее покрыта жесткими колючими волосами, как щека небритого мужчины. Отец в военной форме. Лица его не видно.

Дорога же начинает углубляться, так что обочины делаются все выше, и Лиля с ужасом понимает, что дорога ведет под землю и что все это не сон. Последнее, что сохранилось в памяти, была шелковая толпа восточных красавиц, встречающих ее на въезде в сырую темноту. Они протягивают к Лиле светящиеся полупрозрачные руки, приглашая в свой шелестящий круг, и Лиля с облегчением догадывается, что

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru спасена...

Вместе с ветрянкой кончились и каникулы, но начались сильные морозы, и младших школьников освободили от занятий. Когда девочки встретились в классе, казалось, что прошло не три недели, а три года и то, что происходило у Алёны, было с ними в далеком детстве. Что-то сдвинулось и изменилось: они немного стеснялись друг друга, никогда не вспоминали о том вечере, будто дали обет молчания как соучастники страшного и тайного дела. К Колывановой же с тех пор относились с уважением.

Бедная счастливая Колыванова

Красная женская школа стояла напротив серой мужской, построенной пятью годами позже, как будто специально для того, чтобы оповещать о разумной парности мира, но также и для того, чтобы дух соревнования не разливался бессмысленно по всему району, а мог бы сосредоточенно явиться над двумя этими крышами и воссиять голубем над достойнейшей, а именно женской, и по успеваемости, и по поведению, и по травматизму в отрицательном, разумеется, показателе, всегда лидирующей. Считалось, что в красной школе и педагогический состав лучше, и буфетчица меньше ворует, и дворник бойчее скалывает лед зимой и усерднее гоняет пыль по дорожке в летнее время.

Директорша Анна Фоминична тоже была известная, работала в двадцатых годах с самой Крупской и очень хотела, чтобы школе присвоили имя Надежды Константиновны, но его присвоили роддому, что был неподалеку. Голос у Анны Фоминичны был тихого металла, в стриженных волосах цвета пеньковой веревки она носила круглый гребень, а борт синего пиджака был по будням весь в дырочках, зато по праздникам в каждую дырочку вставлялось по ордену или по другому почетному знаку, тоже на винтике, а все остальное, то есть медали, прикалывалось скобочками.

Учительский коллектив она подбирала с тщательностью, но не только в общественные лица, тайными знаками проступающие из документов, она всматривалась – и человеческие достоинства, и профессиональные качества учителей учитывала Анна Фоминична при подборе кадров. В РОНО у Анны Фоминичны был такой авторитет, что ей многое дозволялось, о чем другие и не помышляли.

Все педагоги прекрасно знали о больших возможностях Анны Фоминичны, но и они были безмолвно удивлены, когда по выходе на пенсию старой немки Елизаветы Христофоровны, замученной грудной жабой и дерзкими старшеклассницами, Анна Фоминична представила им накануне первого сентября новую преподавательницу немецкого языка со скрыто воинственной фамилией. Эта новая Лукина была больше похожа на заграничную артистку, чем на советскую учительницу. Она только что вернулась из Германии, где много лет прожила с мужем-военным, и с головы до ног представляла собой сплошной вызов, и особенно ноги были вызывающими, какими-то непристойно голыми, – чулки она носила бесцветные, прозрачные и к тому же без шва, что было новомодной роскошью.

Педагогический состав, преимущественно женского пола, благодаря профессиональной выдержке кое-как вынес удар, но что должно было произойти со школьницами, не защищенными еще жизненным опытом, трудно было даже представить.

Год вообще обещал быть тяжелым: только что вышел указ о совместном обучении, мужскими и женскими оставались теперь только уборные в конце коридора, а не все школы в целом. Молоденькие учительницы, работавшие до этого исключительно в красной школе, были в большом смятении, более старшие коллеги, имевшие довоенный опыт работы в смешанных школах, отнеслись к этому новшеству хоть и неодобрительно, но без особого волнения. Слияние школ сопровождалось также введением мужской школьной формы, частично копирующей гимназическую. Старый математик Константин Федорович, начавший свою педагогическую деятельность еще до революции, прокомментировал предстоящую перемену кратко и загадочно: «Гимназическая форма внутренне организует». Он привык смолоду следить за своей дистиллированной речью и ничего лишнего не произносил.

Для пятого «Б» день того первого сентября был незабвенным: вместо двадцати переведенных в серую школу одноклассниц им влили пятнадцать бритоголовых хулиганов, набыченных и несколько растерянных. Плотным серым клубком они сбились в дальнем левом углу класса, держа круговую оборону, которую никто не собирался прорывать. Девочки изо всех сил делали вид, что ничего не происходит, обнимались, висли друг на дружке и разбивались на парочки, чтобы занять места на

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
партах.

Безутешная Стрелкова сидела на парте одна, горюя о Чельшевой, безвременно ушедшей в чуждый мир бывшей мужской школы. Выгоревшая на деревенском солнце Таня Колыванова, как обычно, устраивалась на задней парте и, хотя занятия еще как бы и не начинались, уже испачкала щеку лиловыми чернилами.

Зазвенел звонок, и на последнем его хриплом выдохе в класс вошла новая классная руководительница.

Онемели все – и старожилые девочки, и пришлые мальчики. Она была высока ростом и дородна. Сорок одна пара остановившихся зрачков пронзили учительницу, ни одна деталь ее внешнего облика не была упущена. Волосы ее блестели лаком, как крышка рояля в актовом зале, они и в самом деле были покрыты специальным лаком, о существовании которого еще не знала эта шестая часть суши; красная помада немного вылезала за линию небольшого рта; темно-зеленые плоские туфли с черным бантиком и темно-зеленая же сумочка являли собой неправдоподобное совпадение, а на руке было плоское обручальное кольцо, каких в ту пору вообще не носили. И так далее...

«Вырасту и обязательно сошью себе такой же костюм в клеточку», – немедленно решила Алена Пшеничникова, а остальные двадцать пять девочек, не умевшие так быстро принимать решения, потрясенно и бессмысленно тарачились на это чудо.

Колыванова, которую природа наделила неизвестно зачем очень тонким обонянием, первой ощутила сложный и обморочный запах духов. Она втянула в себя побольше этого пряного и немного слезоточивого запаха, но не смогла его в себе удержать и громко чихнула. На нее все посмотрели.

– Будь здорова, – сказала учительница. Туго натянутая пауза обмякла. – Садитесь пока кто куда хочет, потом разберемся, – продолжала учительница важным и немного писклявым голосом.

Колыванова села на свою заднюю парту, покраснев так, что на густом румянце выступили светло-серые веснушки.

– Поздравляю вас с началом учебного года. Я ваша классная руководительница, меня зовут Евгения Алексеевна Лукина, – с выразительными растяжками произнесла она и уже к концу фразы поняла, что напрасно беспокоилась и что дети будут слушать ее и подчиняться ей так же, как и молодые военные, которым она преподавала прежде. – А теперь познакомимся, – продолжала она и, раскрыв свежий журнал, произнесла: – Алферов Александр.

Алферов Александр был самым мелким из мальчиков, но со взрослой мордочкой и смахивал на лилипута. Он стоял, держась за парту и опустив глаза. Она молчала, ожидая, когда он посмотрит на нее. Он посмотрел.

Евгения Алексеевна была большим мастером взгляда, она умела смотреть кротко, колюче, многообещающе, загадочно и презрительно, вступая в молниеносные личные отношения. Она дочитала до конца весь список, подержала на крючке своего взгляда каждую из этих маленьких рыбок, запомнила фамилии двух девочек-близнецов, мальчика-лилипута, улыбающейся толстухи с передней парты и еще нескольких, с особыми приметами. Память у нее была профессионально цепкая, и она знала, что через неделю будет знать всех до единого. Она написала на блестящей мокрой асфальтом доске "heute ist der 1 September" и приступила к обучению немецкому языку...

Эти первые дни сентября были в школе, особенно в старших классах, нервными и напряженными. Мальчики и девочки, приведенные вдруг в неожиданную близость, рассматривали друг друга новыми глазами, и даже те из них, кто давно был знаком по дворовым гуляньям, знакомились как бы заново. Быстро вызревали школьные романы, туго свернутые записочки летали с парты на парту, и траектории их полета были гораздо интереснее, чем траектория пули, пущенной со скоростью 45 м/сек. из ствола под углом 30 градусов из бессмертного учебника физики Перышкина.

К концу сентября было доподлинно известно, кто в кого влюблен. В Алену Пшеничникову влюбился Костя Черемисов и, как выяснилось впоследствии, на долгие годы; толстая Плишкина отдала свое просторное сердце спортивному второгоднику

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru
Васильеву и хорошенькому Саше Кацу одновременно; Багатурия и Конников ели друг друга глазами с первого по последний урок, и Леночка Беспалова уже видела их однажды у самого фонтана на Миусском скверике.

Были, конечно, и тайные симпатии, скрытые страсти и потаенная ревность, но самое пылкое чувство, идеальное и бескорыстное, было укрыто в сердце Кольвановой. Предмет влюбленности был недостижимо высок – сама божественная Евгения Алексеевна.

Два урока в неделю и минутные встречи в коридоре не насыщали кольвановской страсти. Обычно во время перемены она вставала напротив двери учительской и ждала ее выхода, как ждут выхода примадонны, и каждый раз Евгения Алексеевна оказывалась прекрасней возможного, действительность ее несказанной красоты превосходила ожидаемое, Таня счастливо обмирала. Невзирая на столбняк счастья, мелкие детали не ускользали от восхищенного взгляда: новая брошка у ворота, край шелкового платочка, вдруг высунувшийся из верхнего мелкого кармашка ее костюма. Тане не приходило в голову, как, скажем, Алене Пшеничниковой, возмечтать о таком вот костюме в клеточку, когда-нибудь, в бесконечно удаленном времени «когда вырасту». Единственное, чего хотелось Кольвановой, это иметь фотографию Евгении Алексеевны, и она заранее предвкушала, как в конце года сделают большую фотографию всего класса с классной руководительницей посередине и как она вырежет ножницами ее портрет, непременно круглый, и будет носить его в пенале, в маленьком отделении для перьев. Но до конца года было еще далеко.

Однажды в конце сентября, проводив на филерской дистанции Евгению Алексеевну до метро, она решила спуститься вслед за ней и, сделав незамеченной пересадку на станции «Белорусская», вышла на «Динамо», следуя на приличном отдалении за ее светлым плащом. Плащ мелькал между деревьями, петлял по тропинке мимо ветхих дач бывшего Петровского парка, а Таня шла по красно-желтым кленовым листьям как по небу и готова была идти так всю жизнь, видя впереди себя этот складчатый плащ и блестящий античный узел, свитый на затылке. Потом учительница свернула куда-то и исчезла. Кольванова решила, что она вошла во двор единственного достойного ее дома, «генеральского», украшенного огромными гранитными шарами у входа.

Впоследствии выяснилось, что Евгения Алексеевна действительно жила в этом доме. Еще несколько дней спустя, когда тайные проводы учительницы стали ежедневным ритуалом, Кольванова увидела, как навстречу учительнице бросилась девочка лет пяти, в красной плиссированной юбочке и с обручем в блестящих черных волосах. Девочка гуляла с толстой хмурой старухой в шляпке с ушами и была, в сущности, некрасива: с высоким лобиком, длинным подбородком и толстой нижней губой. Тане она показалась необыкновенной.

«Заморская какая девочка», – подумала она восхищенно. К тому же заморскую девочку звали Регина. Девочка была так похожа на своего отца, что спустя некоторое время Кольванова узнала отца девочки в широком кургузом генерале с толстой нижней губой, который с недовольным лицом вылезал из черной машины возле подъезда Евгении Алексеевны.

Движимая ненасытным и невинным желанием видеть возлюбленную, Кольванова следовала за ней на известном отдалении, когда та отправлялась к своему зубному врачу на Трубную площадь, невидимо сопровождала ее, когда она навещала в больнице свою старшую сестру, поджидала возле парикмахерской, где ей мазали вишневым лаком большие ногти, и вдыхала дурманящий запах лака, пробивавший тонкие кожаные перчатки, когда та выходила на улицу. Даже самая тайная сторона жизни учительницы не ускользнула от Кольвановой: по вторникам, без десяти три, Евгения Алексеевна выходила из школы и шла пешком в сторону, противоположную метро, доходила до кафельной молочной на углу Каляевской и Садового, останавливалась у витрины с гигантскими бутылками, и в ту же минуту подъезжала серая «Победа», из нее выскакивал высокий военный, огибал машину и распахивал перед ней дверцу. Она садилась на место рядом с водителем, он с непроницаемым лицом хлопал дверцей, и выворачивающая из-за угла в этот момент Кольванова еще успевала заметить в скругленном окошке машины мужскую руку на заброшенном затылке.

Самоуверенная и беспечная Евгения Алексеевна, которая даже школьных учителей, как сама говорила своей ближайшей подруге, смогла поставить на место, была близорука, лица в толпе у нее смешивались, а что касается Кольвановой, то ей по ее детской и всяческой незначительности раствориться в толпе труда не стоило.

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru
Так и жила Евгения Алексеевна с невидимым эскортом изо дня в день, не исключая и выходных, которые Колыванова проводила по возможности в ее дворе с гранитными шарами, чтобы не пропустить, как она выходит из дома с дочкой или с мужем...

Потом началась зима. Евгения Алексеевна стала ходить в блестящей цигейковой шубе и коричневых ботинках на белом каучуке. Девочки в классе постоянно обсуждали Евгешины наряды, но Колыванова этих разговоров не понимала: красивая одежда Евгении Алексеевны была, по ее ощущению, не свидетельством хорошего вкуса, богатства, того факта, в конце концов, что Евгения Алексеевна долго жила за границей, а исключительно ее личным качеством, словно блестящие шубы и сапожки, пушистые свитера и кофты она просто выделяла из самого своего существа, как моллюск выделяет перламутр.

К середине декабря, к концу второй четверти, у Колывановой открылось так много двоек, что Евгения Алексеевна вызвала ее, указала крепким ногтем на каждую из них и сказала, что надо обязательно подтянуться. Она прикрепила к Колывановой исполнительную отличницу Лилию Жижморскую, и Лилия рьяно взялась за дело. Ежедневно дожидалась Лилия, пока Колыванова съест в школьной столовой свой бесплатный обед, завистливо поглядывая на казенный винегретик, который дома почему-то никогда не готовили, и вела Колыванову к себе, совсем недалеко от школы.

Ласковая домработница Настя целовала Лилию. Лилия целовала Настю. Потом выходила головастая кошка – потереться о Лилины ноги в бумажных чулках, а в конце концов выползала крошечная, совсем игрушечная старушка, которая называлась Цилечка, и происходило еще одно целование. Цилечка говорила все на «э» – золоткэ, кошечкэ, донелэ – и совершенно ничего не слышала, о чем Лилия в первый же раз и сообщила Колывановой: «Циля, наша родственница из провинции, приехала, чтобы подобрать слуховой аппарат».

Потом они мыли руки и шли в большую комнату, где стоял стол под белой скатертью, ковровая кушетка, пианино и много всякого другого добра и красоты, даже телевизор с линзой. Настя приносила обед сразу на двух тарелках для каждой, и еда тоже была необыкновенная. Один раз дали вместо супа бульон в чашке с двумя ручками, с пирожком на маленькой отдельной тарелочке, и пирожок был хотя и с мясом, но такой вкусный, как будто сладкий. Пока они ели, Настя стояла у двери со сложенными на животе руками и непонятно чему радовалась. Когда же однажды Настя подала им компот не в стаканах, а в стеклянных плошечках, Колыванова вдруг догадалась, что и у Евгении Алексеевны в доме все должно быть в точности так богато и красиво. Только странный запах все время ощущался в комнате, тревожный и раздражающий. «Евреями пахнет», – решила Колыванова, которая знала, что они каким-то нехорошим образом отличаются от других людей. Это был запах камфары, который пропитал квартиру со времен болезни Лилиного деда.

После второго обеда хотелось спать, но Лилия вела Колыванову в маленькую угловую комнату и усаживала за уроки. Сначала Лилия толково объясняла, но, если видела, что Таня не понимает, быстро писала все в своей тетради и велела просто переписывать. Ученье заканчивалось довольно скоро, потому что в четыре часа входила Настя и напоминала: «Лилечка, у тебя музыка» или: «Лилечка, у тебя немецкий»... И Лилечка послушно складывала тетради, а Таня уходила.

Колыванова так увлеклась ходить к Жижморским, что даже немного охладела к Евгении Алексеевне, хотя воскресенья по-прежнему проводила в ее дворе.

К концу четверти все двойки были исправлены, кроме географии, по которой Колыванову все не спрашивали. Тогда Лилия сама пошла к учительнице географии и попросила, чтобы та вызвала Колыванову. Ей поставили троечку, и Лилия возгордилась колывановскими успехами больше, чем своими скучными пятерками: в ней прснулось педагогическое тщеславие.

Между тем приближался Новый год, в классе собирали деньги на подарок классной руководительнице, и родительница Плишкина, которая была, как все знали, со вкусом, купила в подарок от имени всех большую плоскую коробку с шестью хрустальными бокалами. Таня так и не увидела этих бокалов, хотя десять рублей у матери выпросила и родительница Плишкина поставила крестик против ее фамилии. Зато в магазине «Стекло-хрусталь» на улице Горького она долго рассматривала весь выставленный в витрине хрусталь и выбирала мысленно среди рюмок те, которые казались ей самыми красивыми: высокие, узкие, с граненым шариком на вершине

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
ножки.

Потом начались скучные каникулы. Дома болел Колька. Сестра Лидка ходила теперь на работу, была ученицей обмотчицы, а Танька сидела с Колькой. Потом заболел и Сашка. Колыванова с нетерпением ожидала конца каникул, заранее загадывая, как она увидит Евгению Алексеевну. За время разлуки любовь ее как будто немного затуманилась, но не прошла. В сущности, это была счастливая любовь, она ничего не требовала для себя, и даже мысль о служении не являлась Колывановой: да и чем могла послужить своему божееству маленькая Колыванова, не имеющая за душой ничего, кроме смутного восторга?..

Наконец наступило одиннадцатое января. В восемь часов утра Колыванова уже стояла у школьных ворот, ожидая, как Евгения Алексеевна войдет во двор – линкором среди плавучей мелочи. И вот она вошла, еще более высокая, чем представлялась Колывановой, еще более красивая, и не в цигейковой шубе, а в рыжей лисьей жакетке и зеленом цветастом платке.

Раздевалась Евгения Алексеевна в учительской раздевалке, а Колыванова стояла в очереди, чтобы просунуть свое дрянненькое пальтишко в гардеробную дырку, и, отдав его дежурным, прошмыгнула в учительскую раздевалку и понюхала рыжий жакет, который пахнул наполовину зверем, наполовину духами и светился огнем и золотом. Она погладила чуть влажный рукав и ушла незамеченной...

После школы Лиля позвала ее делать уроки, но она отказалась, потому что уснувшая была любовь пробудилась с новой силой и она решила во что бы то ни стало проводить сегодня Евгению Алексеевну до дома – тайным, как всегда, образом.

Таня после уроков долго гуляла в школьном дворе, поджидая Евгению Алексеевну. Она вышла в половине четвертого и быстро, не глядя по сторонам, пошла к метро, спустилась вниз, но не повернула, как обычно, к среднему вагону, а пошла в самый торец зала, откуда двинулся ей навстречу заметный человек в белом кашне, без шапки, с густыми серыми усами. Он был не тот военный, который встречал ее по вторникам возле молочного магазина, и не муж в серой папахе. Он был молодой и такой же красивый, как сама Евгения Алексеевна, а в руках у него были цветы, завернутые в ласковую бумагу.

Колыванова, глядя на них, испытывала счастье прикосновения к прекрасной жизни – как в кино, как в театре, как в Царствии Небесном, о котором все рассказывала их деревенская бабушка, простая и глупая. И она представила себе, как они сидят за столом и едят обед из двух тарелок сразу, а Настя подносит им пирожки на блюдечках, а они пьют ярко-красное вино из тех бокалов со стеклянными шариками на ножках, и все это происходит непременно в той красивой комнате у Лильки. И никакого хихиканья, возни, кряхтения, которое разводит их мамка со своими любовниками. Никогда, никогда... Может, только поцелуют друг друга, красиво запрокинув головы...

Таня стояла на порядочном расстоянии, припрятавшись за мраморной полуаркой. Люди шли довольно густо, и она быстро потеряла их из виду.

В школе в январе и в феврале происходили разные события: сначала был пожар в котельной, и три дня не учились, пока не наладили топку, потом умерла недавно вышедшая на пенсию бывшая немка Елизавета Христофоровна, которую хоронили почему-то чуть не всей школой, потом семиклассник Козлов упал с пожарной лестницы и сломал сразу обе ноги, и, наконец, директорша Анна Фоминична уехала в составе учительской делегации в Чехословакию, а потом приехала, рассказала на общешкольном собрании о братской Чехословакии и дала адреса чехословацких пионеров, и вся школа как сумасшедшая стала писать им письма. А потом устроили конкурс на лучшие десять, отправили их и стали ждать ответов.

Тут уже начался март, и все стали готовиться к Международному дню Восьмого марта. Родительница Плишкина опять собирала деньги на подарок классной руководительнице. Колыванова попросила у матери десятку, но мать была злющая, денег не дала и обругала. Сестра Лидка обещала дать с полочки, но полочка была пятнадцатого, а та, что была первого, уже вся ушла. Танька плакала три вечера подряд, пока мать не пришла веселая, выпившая, с Володькой Татариним и не дала ей десятку.

С утра Колыванова собиралась сдать десятку Плишкиной матери, которая приводила

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru по утрам свою Плишеньку и собирала в раздевалке деньги. Но поскольку Колыванова уже успела объявить ей, что денег мать не дает, то с нее уже и не требовали. Целый день она скучно сидела на своей задней парте. Немецкого в тот день не было, и вообще была суббота, немкин выходной, так что и на перемены Таня из класса не выходила: интересу не было.

Последним уроком было рисование. Рисовали из головы корзину с цветами и подписью на красной ленте «Поздравляю маму...». Колыванова ничего не делала: во-первых, карандашей не было, во-вторых, училка Валентина Ивановна была толстая королева, сидела за столом и никого не проверяла.

Колыванова скучала, скучала, а потом вдруг ее озарила великая идея: купить Евгении Алексеевне настоящую корзину цветов, как дарят артисткам, и подарить тайным образом, но от себя лично, а не общественным способом.

Едва досидев до конца урока, понеслась Колыванова на улицу Горького, где был известный ей цветочный магазин, в витрине которого она видела такие корзины. На этот раз никаких корзин в окне не было, все было забрано слоистым морозовым узором, и она вошла в маленький магазин. Корзины стояли во множестве, и откуда они здесь взялись посреди зимы, даже представить себе было невозможно.

Старый розоволицый мужчина в круглой барской шапке с бархатной макушкой выбирал цветы, а продавщица все ему приговаривала:

– Дмитрий Сергеич, Вера Иванна больше всего любит гортензию, гортензию ей всегда посылают...

Мужчина, сильно похожий на кого-то знаменитого, богатым голосом отвечал ей:

– Милочка моя, да Вера Иванна гортензию от геморроя отличить не может...

Колыванова под сурдинку шмыгнула к прилавку и обомлела: гортензия эта стоила 137 рублей, а та, что в корзине поменьше, – 88. А самые дешевые цветы в корзине, красные и белые, на длинных гнутых стеблях и не такие уж пышные, все равно стоили 54... Но десять – то уже было! Не теряя времени, Колыванова поехала в Марьину Рощу к родственнице своей, безрукой Тамарке. У нее она надеялась выпросить недостающие сорок четыре рубля. Тамарка была дома и даже обрадовалась, велела поставить чайник. Таня сварила чай, покормила Тамарку с рук хлебом и колбасой и сама поела. Поевши, Тамарка сама спросила, зачем она приехала.

– За деньгами, – честно призналась Колыванова. – Мне сорок четыре рубля нужно.

– А на что тебе столько? – удивилась Тамарка. Колыванова понимала, что не надо бы говорить на что, но быстро врать не умела. Потому призналась, что учительнице на подарок.

– Я тебе родня, – рассердилась Тамарка, – к тому же и увечная, что-то ты мне подарков сроду не делала... Не дам тебе нисколько. Хочешь – заработай. Вот помоешь меня в корыте да постираешь, тогда дам тебе, не столько, конечно...

Колыванова поставила на плиту два ведра с водой и стала ждать, пока согреется. Весь вечер она возилась с ее бельем, которого был полный таз. Тамарка дала ей десять рублей, но отругала, что постирано нечисто.

Домой вернулась поздно. Мать была в ночную, а Лидка спала. Утром поговорить с Лидкой она не успела, потому что она очень рано ушла на фабрику. Только вечером следующего дня снова приступила Колыванова к сестре насчет денег. Лидка была умная, ловкая, но денег у нее на самом деле не было. Она пошла под лестницу, там висела дяди-Мишина рабочая телогрейка, которая не раз выручала ее по мелочевке. Она пошарила в обоих карманах и принесла сестре горсть мелочи, больше двух рублей.

На кухне в тот вечер была драка. Тетя Граня из зеленого барака пришла ругаться с тетей Наташей за своего мужа Васю. Соседки собрались на кухне, и мать Колывановых, Валентина, тоже там участвовала. Лидка велела Тане постоять при дверях, влезла в материну сумку, но в ней была одна большая бумажка в пятьдесят рублей и больше ничего. Был у Лидки в запасе еще один способ, но она сомневалась, чтоб Танька на него согласилась. Но все же спросила:

– А если потараканят тебя?

– А сильно больно? – деловито поинтересовалась Колыванова.

Лидка задумалась, как бы верней объяснить:

– Мамка покрепче дерет.

– Тогда пусть, – согласилась Танька.

Переговоры Лидка решила провести немедленно. Надела серую козью шапку и пошла. Идти надо было рядом, в смежный двор, но вернулась она не очень скоро, зато довольная.

– Ну, обещал он денег–то дать, Паук–то, – сообщила она.

– Да ну? – обрадовалась Танька.

– Не так просто, – остерегла Лидка сестренку. – Потараканит тебя.

– А вдруг потом денег не даст? – встревожилась Танька.

– Так вперед взять, – надоумила опытная Лидка. Танька, хотя была и маленькая, тоже хорошо соображала:

– Ну да, сначала дадут, а потом отберут.

– Так вместе ж пойдем, я сразу возьму и унесу, – предложила Лидка.

Танька обрадовалась: так выглядело надежней.

– А сама–то ты к нему ходила? – спросила Танька сестру.

– Когда еще было... – отмахнулась Лидка. – Когда мать Сашку рожала, в то лето. А потом она из роддома пришла, ей Нюрка сказала, что я к Пауку ходила, она меня выдрала, – напомнила Лидка. – Я теперь этим не занимаюсь. Я теперь замуж выходить буду, – с важностью добавила она.

Таня кивнула, но без сочувствия. Она была занята своими мыслями: времени–то почти не оставалось, на завтра было шестое, а Лидка выходила с двух, а вечером надо было братьев забирать, и вдвоем отлучиться им было невозможно. Идти же одной Танька боялась, хотя и знала куда.

Пошли они седьмого, перед вечером. Жил Шурик Паук во втором этаже зеленого барака с матерью и с бабкой. Был он молодой парень, но порченный. Одна нога у него росла криво и была короче другой. Он и в армии не служил, и не работал толком. Был голубятником. В своем сарае с большой голубятней наверху он и проводил все время, ночевал там даже зимой, укрывшись тулупом и старым ковром. Он не пил, не курил. Говорили, что деньги на машину копил. И еще известно было, что он портит девочек. Сам он, смеясь редкозубым ртом, говорил, что ни одна девчонка из барачков от него не ушла. Взрослые девки дела с ним не имели.

Когда сестры Колывановы пришли к нему, он был сильно озабочен, усаживал в клетку полуживую птицу.

– Вишь, заклевал мне голубку хорошую. Затоптал всю, злой такой турман, – пожаловался он девочкам, которые вошли и сели у двери на один шаткий стул.

Он возился с птицей минут десять, мазал ей поклеванную шейку, дул на розовую головку. Потом закрыл клетку и обернулся к ним.

– Лид, а Танька–то твоя дылда какая, я думал, маленькая, – заметил он.

– Она меня на три года моложе, а вот на столько выше, – объяснила Лидка положение вещей. И правда, хотя Лидке уже исполнилось шестнадцать, она была небольшого роста, и Танька в этом году ее сильно переросла. Зато Лидка была просторная, с мясом, как говорила их бабушка, а Танька сухая как саранча.

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

- Че, тебе тридцать четыре рубля надо? – спросил он у Таньки.
- Тридцать два можно, – ответила Танька, вспомнив про два рубля серебром.
- Чтой-то холодно сегодня, – озабоченно вдруг сказал Паук и пошевелил задумчиво в кармане брюк. – А ты иди, иди, – обратился он к Лидке.
- А деньги-то? – спросила Лидка.
- А принесешь когда? – поинтересовался он.
- Пятнадцатого принесу, в получку, – пообещала Лидка.
- Ну ладно. А пока не принесешь, пусть она ко мне ходит, – он засмеялся, – процент платить.

Он вынул из кармана целый пук мелких денег и отсчитал тридцать два рубля трешками и рублевками. Лидка не постеснялась, пересчитала.

- Иди себе, иди, – велел ей Паук, и она тихонько выскользнула в дверь.

Танька с облегчением вздохнула: набрала она денег на свое дело, набрала...

Шурик еще пошевелил в кармане:

- Ну что, посмотреть-то на него хочешь?
- Нет, – улыбнулась простодушно Танька, – мне бы поскорее.
- Ну ладно, – не обиделся Паук, – сядь тогда на лестницу, вон туда, – он указал ей на третью перекладину приставленной к лазу на голубятню грубо сбитой лестницы. – Да валенки надень. Надень, замерзнешь, – разрешил он, когда увидел, как она стягивает из-под пальто кое-какую одежду и протягивает через нее голые цыплячьи ноги...

В тот учебный год, год слияния мужских и женских школ, зацветали даже сухие веники: сразу у двух учительниц сбежали мужья к каким-то, само собой молоденьким, сучкам, новый литератор Денискин влюбился в практикантку Тонечку и скоропалительно женился, незамужняя учительница рисования, которая ходила с большим животом последние десять лет, вдруг ушла в декрет, и даже Анна Фоминична, под насмешливыми взглядами всего педагогического состава, тяжело кокетничала с овдовевшим математиком. Дежурные выметали из классов бессчетные записочки, а одной девятикласснице из очень приличной семьи сделали аборт в роддоме как раз имени Крупской, за что Анну Фоминичну вызывали в РОНО и сильно прикладывали. Было еще много всяких тайных любовных вещей, про которые никто не знал.

В школе готовился большой вечер, посвященный Восьмому марта, и Колыванова тот день прогуляла.

Она ушла из дома утром, как обычно, но захватила с собой материнскую кошелку. Еще не было девяти часов, а она уже стояла у закрытого цветочного магазина, который открылся в одиннадцать. Она не напрасно пришла так рано: через час за ней стояло уже человек двадцать, а к открытию очередь выстроилась чуть ли не до Елисейевского.

Она сразу рванулась к кассе и опять была первая. Цветы, которые она облюбовала заранее, как она теперь узнала, назывались цикламены, и были они трех сортов – белые, розовые и пронзительно-малиновые. Малиновые она и выбрала, хотя и не без колебания: розовые и белые ей тоже нравились.

Та же самая продавщица, которая советовала давешнему старику гортензии, красиво завернула корзину и помогла засунуть ее в кошелку.

Было начало двенадцатого, и она поехала на двух троллейбусах на дом к Евгении Алексеевне. Она поднялась на последний этаж, а потом еще на полпролета выше, к самому чердаку, и села там. Она знала, что ждать ей предстоит долго. Неудобство

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru заключалось в том, что Евгения Алексеевна жила на седьмом этаже, а Таня забралась выше десятого, и по неопределенному стуку лифта невозможно было догадаться, где именно он остановился. Всякий раз, когда хлопала дверь, она спускалась на три этажа ниже посмотреть через проволочную сетку на седьмой, не идет ли Евгения Алексеевна.

К обеденному времени, она видела, вернулась Регина со своей прогулочной теткой. Несколько раз приезжали какие-то дети и старые люди, но в другие квартиры. Хотелось есть, пить, спать, потом немного заболел зуб справа, но сам собой и прошел. Таня стала беспокоиться, не завяли ли цветы в корзине, она распустила сверху бумагу, но там, под бумагой, цветы были свежими и великолепными, только показались ей совсем темными, и она пожалела, что не купила белые.

Потом дочку Регину снова повели на прогулку, а вскоре начало темнеть в окнах на лестничной клетке. Опять хлопнула дверь на седьмом этаже: это была серая папаха. Колыванова просидела еще минут сорок, прикидывая, что пора бы уже появиться Евгении Алексеевне. Она никогда не оставалась на школьных вечерах до самого конца, как другие учителя.

«Пора», – решила Колыванова, вытащила из кошелки завернутую в бумагу корзину и, прижимая к животу, снесла к дверям и поставила на самую середину коврика. Потом она снова поднялась в свое убежище. Но ждать пришлось уже недолго, минут через пять приехала Евгения Алексеевна, и Колыванова видела сверху ее рыжих лисиц и маленькую вязаную шапочку с витым шнуром. Она даже услышала приглушенный звонок, щелканье замка и недовольный мужской голос.

Теперь Таня заторопилась, бегом побежала к метро. В метро было светло и ярко, и все женщины несли веточки мимозы. Она представила себе корзину с богатыми бархатными цикламенами, с блестящими плотными листьями и впервые в жизни испытала гордость богатства и презрение к бедности – к жиденьким желтым шарикам с противным запахом. И еще было невыразимое чувство соучастия в прекрасной гармонии мира, которой она послужила: Евгении Алексеевне шли цикламены точно так же, как вся ее красивая одежда, как гранитные шары у ее подъезда, как усатый красавец, который встречал ее теперь в метро чуть ли не каждый день.

По-видимому, относительно молодого усача у генерала Лукина были совершенно другие соображения. Во всяком случае, когда он, взбешенный и мрачный, открыл жене дверь, он собирался спросить ее, где именно она шлялась, объявив заранее, что задержится на школьном вечере. Он заехал за ней в школу в половине пятого, поскольку ему принесли два билета на торжественный концерт в Большой театр. Но в школе ее уже не было. Она сказала там больной и давно уехала. Вот именно куда же она уехала и хотел знать генерал Лукин, который сердцем ревнивца давно уже чувствовал дыхание измены.

Жена его вошла с растерянной улыбкой и с корзиной цветов:

– Представь, Семен, на коврике у двери корзина с цветами...

Но она не успела договорить, поскольку муж ее Лукин совершенно бабьим размашистым жестом закатил ей крутую оплеуху. Всей своей прежней гордой жизнью была она к этому не готова, не удержалась на ногах и упала, ударившись бровью об угол подзеркальника. Корзина тоже упала. Он кинулся поднимать жену, но она отвела его руку и пошла, сбросив на пол лисью жакетку, сказав ему через плечо единственное слово: «Пеньки!»

Это было то самое слово, которое она изредка обрушивала на него как топор, и название милой вятской деревушки, откуда он был родом, мгновенно обращало его в ничтожество, в подпаска, в деревенщину. Он почувствовал боль и стыд, такие же острые, как недавний гнев. Раскаяние и неожиданная уверенность в невиновности, даже какой-то горделивой невиновности его жены охватили его.

Она защелкнула дверь ванной. Он стоял в коридоре и, прижавшись щекой к двери, твердил едва не со слезами: «Женечка, Женечка, прости!» А Женечка, зажимая мокрым полотенцем кровоточащую ранку, морщилась от боли и злорадно, по-детски, твердила про себя: «И буду, и буду, и всегда буду!»

Корзина с цикламенами лежала на полу в прихожей, и никак нельзя было сказать, чтобы она доставила Евгении Алексеевне большую радость...

Зато радость была у Колывановой: неслась она в сторону дома так поспешно потому, что Паук велел приходить ей каждый день на отработку, и она, девочка послушная, и не думала отлынивать. Подойдя к сараю, она обнаружила, что дверь открыта, а Паука нет.

Дома Лидка шепотом рассказала ей, что дворовые мужики за какие-то подлые грехи так сильно Паука изметелили, что его свезли в больницу. А голубятню, вместе со всеми голубями, разгромили... Прошло много времени, прежде чем Паук снова появился во дворе, и денег ему сестры Колывановы так и не отдали. Растопталось...

Но счастье – чего еще не знала Колыванова – всегда сменяется горестями. Евгения Алексеевна в школе больше не появилась. Сначала она взяла бюллетень по травме, а потом ее муж получил назначение военным советником за границу, и она отбыла в великую страну на востоке, где покупала себе шелк, нефриты и изумруды, а по штату им полагался повар, двое слуг, садовник и шофер, и все, разумеется, китайцы. Про Колыванову она никогда в жизни и не вспомнила.

А бедная Колыванова долго тосковала. Потом любовь ее как будто зажила. Девичьей жертвы своей она вовсе и не заметила, тем более что, кроме Лидки да Шурика Паука, никто и не знал. Один раз Евгения Алексеевна приснилась ей, но каким-то неприятным образом: как будто она подошла к ней на уроке и стала больно стучать по голове костяшками наманикюренных пальцев. Новую учительницу немецкого Таня невлюбила, но немецкий язык казался ей каким-то высшим, небесным.

Два года Колыванова провела в тоскливой спячке. Все девочки в классе повзрослели и округлели, одна она все росла вверх, как дерево, и стала в классе выше всех, даже мальчиков. Потом у нее неожиданно выросла хорошая грудь, серые волосы оказались вдруг пепельными, видимо от мытья, потому что матери дали на фабрике двухкомнатную квартиру с ванной. Так она сделалась сначала симпатичной, а потом и вовсе красивой. Но мальчики на нее не смотрели, все привыкли, что она никакого интереса не представляет. Зато когда Анна Фоминична пригласила на Первомайский вечер слушателей из Высшей партийной школы, а именно любимых своих чехословаков, а те привели с собой всяких прочих коммунистических шведов, среди которых были болгары, итальянцы и один действительно швед, то этот швед пригласил Колыванову танцевать, но Колыванова отказалась, потому что не умела. Но швед все равно в нее влюбился. Встречал ее после школы, водил в кино и в кафе, разговаривал с ней по-немецки и привозил подарки. Она ходила к нему в общежитие через трое суток на четвертые, когда дежурил его знакомый вахтер. Фамилия шведа была Петерсон, он ей не нравился, потому что был ростом меньше ее и с лысиной, хотя и молодой. Но он был не жадный, делал для нее много хорошего, так что она ходила к нему из благодарности.

Потом он уехал, и она не горевала. Вскоре она окончила школу, слабенько, на троечки. Мать хотела, чтобы она поступила на фабрику, в канцелярию, там было место, но она захотела учиться и поступила в педагогический техникум. В институт пострашилась.

Петерсон писал ей письма, а через год приехал, чтобы жениться. Но сразу не получилось, с бумагами были сложности. Он приехал еще раз и все-таки женился. Вскоре Колыванова уехала в Швецию.

Там она купила себе первым делом сапожки на белом каучуке, цигейковую шубу и пушистые свитера. Петерсона она не полюбила, но относилась к нему хорошо. Сам Петерсон всегда говорил, что у его жены загадочная русская душа. А бывшие одноклассницы говорили, что Колыванова счастливая.

Детство-49

Капустное чудо

Две маленькие девочки, обутые в городские ботинки и по-деревенски повязанные толстыми платками, шли к зеленому дощатому ларьку, перед которым уже выстроилась беспросветно-темная очередь. Ждали машину с капустой.

Позднее ноябрьское утро уже наступило, но было сумрачно и хмуро, и в этой хмурости радовали только тяжелые, темно-красные от сырости флаги, не убранные после праздника.

Старшая из девочек, шестилетняя Дуся, мяла в кармане замызганную десятку. Эту

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru
десятку дала Дусе старуха Ипатьева, у которой девочки жили почти год. Младшей, Ольге, она сунула в руки мешок – для капусты.

– Возьмите, сколько унесете, – велела она им, – и морквы с килограмм.

Было самое время ставить капусту. Таскать Ипатьевой было тяжело, и ноги еле ходили. К тому же за то время, что девочки жили у нее, она уже привыкла, что почти всю домашнюю работу они делают сами – легко и без принуждения.

К старухе Ипатьевой, по прозвищу Слониха, девочек привезли в конце сорок пятого года, вьюжным вечером, почти ночью. Они приходились внучками ее недавно умершей сестре и были сиротами: отец погиб на фронте, а мать умерла годом позже. И соседка привезла их к Слонихе: ближе родни у них не было. Ипатьева оставила их у себя, но без большой радости. Наутро, разогревая на плите кашу, она бормотала – привезли, мол, на мою голову...

Девочки испуганно жались друг к дружке и исподлобья смотрели на старуху одинаковыми круглыми глазами.

Первую неделю девочки молчали. Казалось, что они не разговаривают даже между собой, только шуршат, почесывая головы. Старуха тоже молчала, ни о чем не спрашивала и все думала большую думу: оставлять их при себе или сдать в детдом.

В субботу она взяла таз, чистое белье и девочек, волосы которых были заранее намазаны керосином, и повела их на Селезневку в баню. После бани Ипатьева впервые уложила их спать на свою кровать. До этого они спали в углу, на матрасе. Девочки быстро заснули, а Ипатьева еще долго сидела со своей подружкой Кротовой. Выпив чаю, она сказала:

– Господь с ними, пусть живут. Может, неспроста они ко мне на старости лет пристали.

А девочки, словно почуяв, что их жизнь решилась, заговорили сначала между собой, а потом и со старухой, которую стали звать бабой Таней. Они обжились, привыкли к новому жилью и к Слонихе, только с городскими ребятами не сошлись: их игры были непонятны, интереснее было сидеть в комнате, возле швейной машинки, слушать ее неровный стук и подбирать лоскутки, падающие на пол: Ипатьева брала работу – если повезет, то из нового, но больше кому перелицевать, кому починить...

Теперь девочки шли за капустой, и Дуся прикидывала, куда же они ее поставят: бочонка в хозяйстве не было. В дырявом кармане Дусяного пальто, кроме десятки, лежала еще и картинка из журнала с нарисованным желтым зубастым японцем, замахнувшимся кривым ножом на кусок географической карты.

Подтерев сестре нос, Дуся опустила замерзшие пальцы в карман и нащупала десятку, скатанную трубочкой.

– Большая, а носа вытереть не можешь, – проворчала она точно так, как это делала Ипатьева, и снова сунула руку в карман. Ее замерзшие пальцы не расчувствовали десятирублевки и скатали поудобней в трубочку желтого японца. Измятая десятирублевка обиженно скользнула в дыру кармана и полетела вдоль мостовой вместе с бурыми промерзшими листьями.

Сестры встали в хвост недлинной очереди. Женщины говорили, что, может, капусту и не привезут, потому стояли только самые упорные. Все другие, простояв минут десять, уходили, обещая вернуться. Девочки тесно прижимались друг к дружке, топали озябшими ногами – ботинки были дареные, изношенные, тепла не держали.

– Надо было валенки надеть, – сказала Дуся.

– На валенках кошка спит, – отозвалась Ольга.

И они замолчали, наговорившись.

Минут через сорок пришел грузовик с капустой. Его долго разгружали, и девочки терпеливо ждали, пока начнут продавать. Им и в голову не приходило уйти без капусты.

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Наконец сгрузили. Раскрылось зеленое окошко, продавщица начала отпускать. Очередь сразу разбухла. Прибежали все: и те, кто занимал, и те, кто не занимал. Девочки все оттеснились и оттеснились в хвост. Они давно продрогли. Временами шел не то дождь, не то снег. Платки их промокли, но пока еще грели. Только ноги вконец иззябли. Время уже перевалило за обеденное, и продавщица закрыла окошечко, когда девочки приблизились к нему вплотную. Стоявшая у прилавка тетка начала шуметь:

– Чего закрываешь, когда только открыли?

Но продавщица цыкнула на нее:

– Обед! – и ушла.

Прошел еще час. Свет стал убывать. Посыпал настоящий, слепленный в крупные хлопья снег. Он покрывал сутулые спины людей и спины домов, и кучу бело-голубой, твердой даже на вид капусты. От белизны снега стало чуть веселее и вроде светлее.

Вернулась продавщица. Отпустила капусту тетке впереди девочек, и Дуська вытащила из кармана заветную трубочку, развернула ее – вместо десятки это была картинка с японцем. Она пошарила в кармане, ничего в нем больше не было. Ее охватил ужас.

– Тетенька! Я деньги потеряла! – закричала она. – По дороге потеряла! Я не нарочно!

Краснолицая продавщица, одетая, как капуста, во многие одежды, выглянула из своего окошка вниз, посмотрела на Дусю и сказала:

– Беги домой! Возьми у мамки денег, я тебе без очереди отпущу.

Но Дуська не отходила.

– Дырка у меня! Я не нарочно! – редела она.

Маленькая Ольга, понимая, что на них свалилось горе, тоже редела.

– Иди, поищи, может, на дороге найдешь, – посоветовала темнолицая женщина из очереди.

– Как же, найдешь, – фыркнул одноглазый старик.

– Не задерживайтесь, чего зря болтать! Эй, девочка, отойди в сторону! – сказал кто-то третий.

Две сгорбленные девочки, по-деревенски замотанные платками, пошли в сторону дома, разгребая ногами кучи перемешанных со снегом и сумраком листьев, нагибались и рыли побелевшими пальцами в хрустящих водоворотах. Старшая горестно, по-взрослому, причитала:

– Горе ты мое! Что теперь с нами будет! Прогонит она нас, и куда мы пойдем!

Ольга, опустив вниз углы своего треугольного рта, вторила сестре:

– Куда пойдем...

Стемнело. Укрывши плечи мешком, они медленно брели к дому. Умненькая Дуся все думала, что бы такое сказать Ипатьевой, чтобы она их не прибила или, хуже того, не прогнала... Украли? Или отняли? Или еще чего? Сказать «потеряла» казалось ей совсем невозможным.

Ольга всхлипывала. Они подошли к повороту, остановились, собираясь перейти дорогу: деревенская робость перед машинами все еще оставалась в Дусе. Навстречу им несся грузовик, освещая фарами бежавший перед ним раскосый кусок брусчатки. Девочки стояли. Машина, не сбавляя ходу, резко повернула, под фонарем сверкнул бело-голубым сиянием ее груз – высоко вздыбившаяся над бортом капуста. Машина вильнула возле них, рванулась и поехала мимо, сбросив к их ногам два огромных кочана. Они крякнули, стукнувшись о дорогу. Один распался надвое, второй

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru покатился, слегка подпрыгивая, прямо к ногам Ольги.

Они посмотрели друг на дружку – два светло-голубых изумленных глаза смотрели в другие, точно такие же. Сняли с плеч мешок, которым укрывались, сунули в него цельный кочан и тот, что распался. Дуся не могла взвалить на плечи мешок – был слишком тяжел. Они взялись за углы мешка. Вострая Дуся подложила под него картонку, и они поволокли его...

Ипатьевой дома не было. Она сидела у подружки Кротовой, плакала, утирая слезы кривым ситцевым лоскутом:

– Шура, подумай, ведь два раза к ларьку бегала... Пропали, пропали девчоночки мои... Цыгане свели или кто...

– Да найдутся, кому они нужны-то? Сама подумай! – утешала ее Кротова.

– Девчоночки-то какие были! Золотые, ласковые... Как же они без меня? А я-то, я-то как без них? – убивалась Ипатьева, комкая промокшую тряпочку.

А девочки в темноте выложили на стол капусту, сели, не раздеваясь, на стул и ждали...

Восковая уточка

Чаще всего – чуть не каждое воскресенье – старый Родион появлялся летом. Он шел всегда рядом с тележкой, которую везла большая костлявая лошадь. Остановившись посреди двора, он кричал громким голосом:

– Старье-берем!

Это «старье-берем» было вроде припева, потому что он еще длинно выпевал:

– Кости, тряпки, бумага, старая посуда, все берем!

Первыми его окружали ребята.

В задней части тележки горой лежало старье – мятая самоварная труба, остатки сапог, даже консервными банками старик не брезговал. А в передней части тележки всегда стоял фанерный чемодан.

Когда Родион раскрывал его, все замирали. Чемодан был полон драгоценностями. В тонкую картонку были вдеты легкие сережки с красными и зелеными камушками, маленькие колечки лежали навалом в банке из-под леденцов, воздушной кучкой вздымались чуть прозрачные раскрашенные восковые уточки, ослепительно сверкали большие стеклянные шары, в которых торжественно плавали рыбы и лебеди. Нашитые на бумажку пуговицы и разноцветные пряди ниток волшебным образом переливались под майским солнцем.

Валька Боброва прижималась к телеге и не отходила до конца представления. Ей нечего было принести Родиону. Однажды, в прошлом году, она отнесла было Родиону материн платок, но Нинка, старшая сестра, увидела, отняла и вздула. Потом еще добавила и мать.

Вот Валька и стояла, жадно рассматривая сокровища, и прикидывала, чего бы она выбрала... На крупный товар, вроде шаров, она и не глядела – чтобы не тратить попусту желание. Она выбирала между колечком с зеленым камушком и одной уточкой. Уточка была немного попорченная, со вмятиной на крыле. И еще очень нравился наперсток – детский, маленький, он был единственным и лежал в коробке с иголками и пуговицами.

Торговля шла вяло. Пришла тетя Маруся, принесла луженую-перелуженую кастрюлю с дырявым дном. Просила пачку иголок. Родион дал одну – и она, ругая его за жадность на чем свет стоит, ушла в «крылатник», ту часть дома, где до войны жили одни Крыловы, а теперь пять семей.

Петька Разуваев принес старую шинель, но Родион не взял: отец тебе уши вырвет! Это была чистая правда.

Сашка Молокин принес три галоши, он подобрал их на майские праздники, после

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya@ludmila.ru демонстрации, и хранил в ожидании Родиона. Он хотел шар с лебедями, но получил бумажный мячик на резинке, желто-розовый, и был доволен.

Потом подошел Шурка Турок, взрослый парень, что-то тихо сказал Родиону, тот кивнул. Шурка был дворовый вор, это все знали, но он был ловкий, никто его не словил.

Старуха Егорова принесла ватное одеяло. У нее в комнате случился пожар. Огонь загасили, но одеяло погорело. За остатки одеяла она просила у Родиона десяток больших черных пуговиц, но он жалел отдать их за горелое одеяло. Они долго торговались, и она ушла домой ни с чем.

Валька Боброва тарачила круглые глаза и все запоминала. Память у нее была невиданная: она помнила за всю свою жизнь, кто что Родиону снес и что за это получил.

Родион закрыл свой чемодан, зрители стали расходиться. Валька всегда уходила последней. На этот раз ничего выдающегося не произошло, двор обогатился одним бумажным мячиком, который Валька никогда бы не выбрала, да иголкой.

Родион не спеша обошел вокруг телеги и тронул лошадь. Большие зеленые ворота кто-то успел закрыть.

– Эй, ворота отвори! – крикнул Родион Вальке, и она стрелой понеслась открывать. Родион выехал на мощенную булыжником улицу, а Валька все стояла в воротах и думала про уточку с помятым крылом.

Тетя Матрена Клюева хлопала половиком о забор, поднимая облачка черной пыли. Из дома раздался пронзительный детский крик, и Матрена, бросив половик, кинулась в дом. У нее на плите кипел бак с бельем, и она испугалась, что маленький Сережа, которого она оставила одного на кухне, обварился.

Решимость и холод вдруг обрушились на Вальку. Она подобралась, как пружина, минуты не думая, схватила половик и понеслась вслед за Родионом. Он уже въехал в соседний двор и кричал там свое «старье-берем».

Валька ловко пробралась сквозь толпу соседских ребят и протянула Родиону половик.

– Ишь, вспомнила, – буркнул он, ковырнул половик пальцем и бросил в телегу.

Валька хотела попросить уточку, но язык не ворочался во рту. Родион не глядя сунул руку в фанерный чемодан, огромными пальцами вынул оттуда помятую уточку и опустил Вальке в руку. Она спрятала ее между ладонями и тихо пошла домой. От холода и решимости ничего не осталось, колотилось сердце и очень хотелось пить. Она шла и думала только об одном – куда ее спрятать...

Через два года Валька поступила в школу и у нее открылся талант: ее недокормленное тело оказалось на редкость гибким и ловким. Сначала тренер из Дома пионеров велел приходить на секцию гимнастики, потом ее перевели в спортивную школу. Она выступала в больших соревнованиях, ездила на сборы в другие города и скоро стала мастером спорта, а потом – на весь мир известной спортсменкой.

Всякий раз перед выступлением к ней приходило чувство холода и решимости, и она почему-то вспоминала о нежной восковой уточке с помятым крылом, которая давно растаяла под ее горячими пальцами.

Дед-шептун

Всех женщин своей большой семьи, от бабушки, которая приходилась ему невесткой, до правнучки Дины, прадед называл «доченьками». Всех мужчин – «сыночками», делая исключение для своего старшего сына Григория, которого всегда величал полным именем.

Последние годы он был почти совсем слеп, отличал только свет от тьмы: видел окно, горящую лампу. Читать он уже давно не мог, но правнучка Дина запомнила его почему-то с толстой тяжелой книгой на коленях.

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
Разговаривал он мало, но постоянно что-то шептал так тихо, что почти неслышно. Видно было, как двигаются седые усы над провалившимся ртом – за это звали его дети дедом-шептуном. Он был очень тихим, почти весь день сидел в большом кресле, иногда на табуретке на крошечном полукруглом балкончике. На улицу он не выходил.

Братья ходили в школу, все взрослые были на работе, а Дина, самая младшая в семье, оставалась с прадедом. Время от времени они ложились на диван, укрывшись заштопанным сине-зеленым пледом, и прадед рассказывал девочке истории, вернее, одну бесконечную историю про людей с необыкновенными именами.

Была у них еще одна игра: Дина прятала палку темного дерева с рукоятью в виде собачьей головы с прижатыми ушами, а он ее на ощупь искал и не всегда находил. Правда, иногда он говорил:

– Доченька, вынь-ка палку из-под кровати, мне туда не залезть.

Когда брату Алику исполнилось десять лет, прадед подарил ему часы. Это был невиданно богатый по тем временам подарок. Часы были на тонком коричневом ремешке, формой напоминали кирпичик, у циферблата было торжественное выражение лица. Они были похожи на игрушечные и старались выглядеть посолиднее.

Ни у кого в классе часов не было. Ни у кого во дворе часов не было. А у Алика – были. Каждые пять минут он смотрел на часы и все удивлялся, какие же минуты разные: некоторые длинные, еле тянутся, а другие быстрые, проскакивают незаметно.

Вечерами Алик заводил часы и клал их рядом с кроватью на стул. Сколько Дина ни просила, он не давал их даже подержать.

Однажды утром, недели через две после того, как подарили часы, Алик ушел в школу, оставив часы на стуле возле кровати. По дороге он спохватился, но возвращаться было некогда.

После завтрака Дина обнаружила часы. Она осторожно взяла их – и надела. Прадед покачал головой. Он часто качал головой, словно о чем-то сокрушался.

Во дворе Дину окружили ребята.

– Это Алькины часы! – говорили они.

– Нет, мои! – врала Дина. – Наш прадед был часовщиком, пока не ослеп. У него таких часов – сто штук. Он и мне подарил.

Закатав рукава кофточки, она влезла на качели. Когда она качнулась, часы сверкнули на весь двор. Их видела и тетка, которая вешала белье, и кошка, которая грелась на солнце, и малыш, сидящий в куче песка. Сам дворник спросил у нее, который час. Дина смутилась: она еще не умела различать время по часам. Пришлось сделать вид, что спешит, и убежать на задний двор.

Там ребята играли в волейбол. Она попросилась, ее приняли неохотно. Играть толком она не умела. Дина подняла руки с растопыренными пальцами и стала ждать, когда мяч шлепнется о них. Она ждала долго, даже устала держать на весу бесполезно растопыренные пальцы. Наконец долгожданный мяч, направленный чьей-то завистливой рукой, с силой ударился о запястье, и часы брызнули в разные стороны – отдельно механизм, отдельно стеклышко. С жалким звоном оно стукнулось о землю и подскочило, сверкнув на солнце. На руке остался только ремешок с блестящим донышком.

...Был конец мая. Была первая жара, липы стояли в новой листве, как свежавыкрашенные, и даже пахли немного масляной краской. Казалось, что деревья остолбенели перед случившимся несчастьем. Один только безжалостный Колька Клюквин ехидно произнес:

– Ну, Алька тебе задаст! Хотя часики вроде твои, да?

Зажав в ладони то, что осталось от часов, Дина медленно поднялась на крыльцо, прошла сквозь облако солнца, лежащее на ступенях, в прохладную темноту, пахнущую сырой известкой и кошками. Долго-долго она поднималась на второй этаж.

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru
Она не плакала, но было так тяжело, как будто она несла на спине мешок картошки. Она долго колотила пяткой в дверь, пока не услышала, как шаркает, постукивая палкой, прадед. Он открыл. Дина уткнулась носом в тощий дедов живот, в парусиновые сборки мятых штанов.

– Ничего, ничего, доченька, – сказал он. – Не надо было их брать.

– Ничего! – взвыла Дина. – Хорошо тебе говорить!

И слезы наконец брызнули, как брызжут в цирке у клоунов, сильной струей. Она сунула в маленькую сухую руку прадеда стеклышко и механизм, отцепила ремешок с донышком, и оно было страшным, как крышка гроба, которую она видела однажды на лестнице.

– Ничего! Ничего! – рыдала Дина, уткнувшись в потертую коворую подушку и заливаясь слезами. А когда все слезы, которые были, вылились, она крепко уснула.

Старичок с редкими белыми волосами, стоявшими вокруг маленькой головы, держал разбитые часы и беззвучно шевелил губами.

Когда Дина проснулась, прадед сидел за столом, а перед ним стояла фарфоровая коробочка с инструментами: пинцетами, щеточками, колесиками и круглым увеличительным стеклом в темной оправе, которое дети называли «глазком» и которым прадед давно уже не пользовался.

Дина подошла к нему на цыпочках и прижалась к острому плечу. Он засовывал ремешок в ушки целых часов.

– Деда, ты починил? – не веря своим глазам, спросила Дина.

– Ну вот, а ты плакала. Стеклышко нового у меня нет. Здесь трещинка маленькая, – и он провел твердым длинным ногтем по трещинке. – Видишь?

– Вижу, – шепотом ответила Дина. – А ты? Скажи, ты не слепой, да? Ты видишь?

Прадед повернулся к ней. Глаза его были добрыми и блеклыми. Он улыбнулся.

– Пожалуй, кое-что вижу. Но только самое главное, – ответил он и зашептал, как всегда, что-то неслышное.

Вот и вся история. Прошло очень много лет, и Дина мало что помнит из того времени. Но то, что помнит, делается с годами все ясней, и иногда ей кажется, что скоро она сможет различить, расслышать те слова, которые шептал ее прадед.

Гвозди

В то лето, когда родилась сестра Маша, Сережу решили отправить в деревню – не к дедушке, как отправляли других ребят, а к прадедушке. Прадед жил в далекой деревне, и добирались они с отцом сложным путем: сначала на поезде, потом на маленьком пароходе, потом долго шли пешком. Только под вечер добрались они до деревни. По обе стороны широкой улицы, заросшей низкой пушистой травой, стояли большие серые избы. Некоторые были заколочены. Посреди улицы медленно шли тонконогие кудлатые животные, про которых Сережа сказал: чудные собачки!

Отец засмеялся:

– Овец не узнал! А вон пастух!

И указал на мальчишку чуть постарше Сережи, босого и в теплой шапке. И это тоже было чудно.

Изба, в которой жил прадед, стояла на краю деревни. Когда они вошли, Сережа замер – у него была книжка русских сказок, в которой все было точно так нарисовано: с русской печи свисал овчинный тулуп, который надевал сказочный Старик перед тем, как вести свою бедную дочь в лес к Морозко, и даже ухват стоял на том самом месте, что и на картинке. И запах был особенный, на всю жизнь запомнившийся: старой овчины, закваски, яблок, лошадиной сбруи и другого, незнакомо... запах, которого больше нет на свете...

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru
Две старухи набросились на отца, целовали, плакали, спрашивали. До войны, подростком, он тоже у них гостил.

Поцеловали и Сережу. Одна старуха была ничего, вторая страшная и очень худая и совсем без зубов.

– Это, Серега, тетушки мои, Настасья и Анна, – сказал отец, – твоего дедушки сестры. Так что тебе они вроде бабушки...

«Есть у меня бабушка!» – подумал Сережа с тоской, сразу вспомнил свою красивую завитую бабушку, мамину мать, которая работала бухгалтером в театре и часто водила его на детские спектакли. Он скривился, но ничего не сказал.

Отец вытаскивал из рюкзака гостинцы – одна бабушка сильно радовалась, а вторая заплакала.

«Наверное, боится, что та все подарки заберет», – подумал Сережа и подергал тихонько отца, хотел сказать, чтоб отец сам разделил, а то худой не достанется. Сергей был человек справедливый и во дворе приучен к честной дележке. Но отец от него отмахнулся:

– Потом, потом... – и все вытаскивал свои свертки.

И тут вошел прадед. Он был большой и походил на некрасивого медведя. Старухи сразу притихли, а одна из них сказала:

– Батя, вот Виктор приехал, Ивана сын.

Они поцеловались.

– В нашу породу вышел, – глухим голосом сказал прадед, – парнишком-то мелким был.

Сереже показалось, что отец робеет.

Старухи засуетились, поставили на стол большой темный хлеб, ложки и зеленый таз, который называли «чашкой».

На Сергея никто внимания не обращал, но скучно ему не было. Он тихонько разглядывал множество незнакомых вещей. Удивительное дело: здесь и знакомые вещи имели какой-то другой, новый вид – ложки были деревянные, а подушки были одеты в красные и цветные наволочки, а не в белые, как дома.

Нестрашная старуха крошила в таз зеленый лук, огурцы и картошку, вторая откуда-то принесла решето с яйцами. Солома торчала из решета – как на картинке про Курочку Рябу...

Пришли трое ребят: две девочки постарше Сережи и мальчик, по виду ровесник или помоложе.

– Вот твоя компания будет, – сказал отец. – Это твои троюродные.

Их звали Маринка, Нинка и Митька.

Сережа удивился – он и не знал, что у него столько родни.

Сели за стол. Посреди стола стоял таз с каким-то коричневатым супом, но тарелок не было, только ложки и большой, раскатистый, как пирог, хлеб. Прадед перекрестился и зачерпнул ложкой из общей миски, а за ним и все по очереди.

– Ешь, – шепнул отец. – Это окрошка.

Все как-то ловко зачерпывали, ни у кого на стол не капало, даже у Митьки.

Прадед спрашивал отца про завод, про жизнь. Отец отвечал и на Сережу не глядел. А Сережа сидел, вертел кусок хлеба и удивлялся, как это они едят из одного тазика.

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru
Вдруг страшная старуха, которую звали Анна, взяла белую глубокую тарелку, налила в нее из общей посуды немного и поставила перед Сережей:

– Ешь, милоч, ты по-городскому привык, – шепнула она ему беззубым ртом.

Девчонки хихикнули, мальчик фыркнул.

И вдруг Сережа почувствовал себя несчастным и одиноким. Он подумал, что здесь не останется и уедет завтра с отцом.

Перед ним стояла белая тарелка – все остальные ели из общей, и неожиданно Сереже это показалось очень обидным. А отец сидел, ел и ничего не замечал. Слезы подкатывали к горлу и готовы были вот-вот потечь.

– Что не ешь-то? Ай не нравится? – спросила старуха.

– Нравится, – прошептал Сережа.

Слезы сами собой потекли. Он понял, что хочет есть из зеленой миски, как все. Но было уже поздно.

Никто на него не смотрел. Он отодвинул белую тарелку и потянулся к общей миске. Суп был холодный, кислый, и в ложке плавал зеленый лук, которого Сережа не ел.

Потом поставили на стол большую яичницу и вареную картошку. Это была привычная еда, Сергей поел ее. Старуха Анна отвела его спать на другую половину, на большую высокую кровать с разноцветными подушками.

Он лег и подумал, что ни за что здесь не останется.

Наутро, когда он проснулся, оказалось, что отец уже уехал. Об этом сказала Анна, которую он все не мог назвать бабушкой. Она дала ему молока, кусок давешнего большого хлеба и велела идти гулять. Ребята уже ушли.

Сергей вышел из избы. Он обошел ее кругом, она оказалась очень большой, с пристройкой, и поодаль еще стоял сарай. Дверь была открыта, и он заглянул. Там никого не было. Стоял верстак, над ним висели разные инструменты: рубанки, молотки и еще много разных железных вещей, которым Сережа не знал названия. Под верстаком стоял ящик. В нем по гнездам были разложены гвозди разной величины. Сергей взял средний, длиной с мизинец, взял молоток и стал искать, куда бы его забить.

Он сел у порога, высыпал гвозди кучкой у ног и начал их забивать в порог. Он промахивался, бил по пальцам, гвозди гнулись. Потом дело пошло лучше...

И вдруг почувствовал, что он не один. Рядом с ним стоял прадед и смотрел на него. Сережа испугался. Ни слова не говоря, прадед взял из рук молоток, несколько гвоздей и ровно и легко всадил их рядом с Сережиными.

– Рукоять за конец держи, – глухим голосом сказал старик, – а гвоздь так ставь. Бей в один удар! – и Сережа понял, что он не особенно сердится.

Он взял молоток, как велел старик, и долго еще вбивал гвозди. Пока весь порог не забил. Потом встал и хотел было идти. Прадед строгал рубанком доску, но тут он отложил рубанок, дал Сергею тяжелую изогнутую железяку с раздвоенным заостренным концом и сказал:

– Вот гвоздодер возьми! Теперь вынь гвозди-то! Гвоздь на дело нужен. На что он там?

Сережа взял гвоздодер двумя руками... И снова дед встал на колени, отобрал у него гвоздодер и показал, как надо держать. Пальцы у деда были огромные, руки темные, ногти толстые и бурые, как старый картон.

«Такими пальцами можно и без клещей гвозди тащить», – подумал Сережа.

Он долго пытался подцепить гвоздь, тот не поддавался. С тоской смотрел он на блестящую дорожку шляпок, которые ему предстояло вытянуть. Он понимал, что

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru попался в ловушку. Прадед подошел, легонько ударил молотком по обушку гвоздодера, и он плотно обнял шейку гвоздя.

– Нажимай! – сказал прадед, и Сергей двумя руками нажал на рукоять вниз.

Гвоздь, поколебавшись, дрогнул, и полез вверх, и просто-таки выпрыгнул легко и радостно, как будто сам только того и хотел... и только под самый конец пришлось его чуть-чуть поддержать... И явился на свет.

С другим так ловко не получилось – шляпка отлетела. Дед мельком взглянул и сказал своим глухим голосом:

– Гвоздь береги.

Сергей принялся за третий. Прадед дал коробок и велел складывать туда. Так он тягал и тягал, пока не позвали...

После обеда прадед куда-то ушел, а Сережа решил спрятаться. Он залез на чердак. Там было пыльно и таинственно, но не вытянутые из порога гвозди томили его, и он слез с чердака и пошел в сарай.

Потом опять пришел прадед, посмотрел на Сережину работу и ничего не сказал. Пальцы все были побиты и болели, уйти почему-то было невозможно.

«Вбивал пять минут, – сердился неизвестно на кого Сергей, – а вытаскивать сто часов».

До самой темноты он возился с гвоздодером и клещами, и наконец все гвозди, гнутые и битые, лежали в коробке. Он отдал коробок прадеду, тот поставил его на верстак и сказал:

– Пошли в избу...

Сергей был собой доволен, хотя прадед его не похвалил.

Наутро он встал рано. Босые девчонки и Митя шлепали по избе. Сергей застегивал сандалии и думал, как бы ему за ними увязаться, но тут в избу вошел прадед и сказал:

– Идем со мной, Сергей.

Сергей удивился, но пошел.

Прадед повел его в сарай. Там на верстаке все еще стоял коробок со вчерашними гвоздями. Прадед взял кусок железа размером с книжку, но поуже, положил его на высокий чурбак, вынул двумя пальцами кривой гвоздь и начал по нему легонько постукивать молотком. Гвоздь выпрямился и засверкал свежим блеском.

– Вот так и будешь делать, – сказал прадед.

Сергей обомлел.

«Эта работа на всю жизнь», – подумал он. Взял молоток, слегка тукнул. Гвоздь повернулся на другой бок. Он крутился с боку на бок, как живой. Сергей промахнулся, ударил по пальцу...

Прадед хмыкнул.

– Легче держи!

И Сергей, сжав губы, чтоб не заплакать, все тюкал и тюкал... Долго не получалось, а потом вдруг сразу все сделалось как само собой – гвозди стали послушными.

Когда работа была закончена, он поставил коробок на верстак. Дед взял его и положил в ящик, под верстак, потом распрямился и сказал:

– В курятнике две доски надо поменять. Пошли, поможешь мне...

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
В то лето Сергей так и не сдружился со своими троюродными. Он ходил за стариком и делал с ним всякую работу: столлярную, по дому, на пашке... Под самый конец лета деду привезли на телеге доски. Сгрузили возле сарая. Дед долго их оглядывал, кряхтел, качал головой. Потом позвал Сергея – в помощь. Сначала старик долго правил железок рубанка, потом разводил старую пилу, а когда инструменты приготовил, начал работу... Серезиной помощи не надо было, но прадед его не отпускал, все давал поручения... Перед самым Серезиным отъездом работа была закончена – это был большой длинный ящик с крышкой.

Троюродный брат Митька в последний день спросил:

– А на похороны приедешь?

– На какие похороны? – удивился Сереза.

– Так прадед помирать собрался, гроб–то на что он строил?

«Вот оно что, деревянный ящик был гроб!» – сообразил наконец Сереза.

На другой день приехал отец забирать Серезу. Прадед показал ему гроб в сарае, а отец сказал, что матерьял очень хороший...

В следующее лето Сергей снова приехал в деревню. Но в это лето было все по-другому. Он сошелся со своими троюродными, ходил с ними на речку, в лес за ягодами. В сарай он зашел только один раз – на верстаке стоял коробок с гвоздями, которые он в то лето правил. А прадеда уже больше не было.

Счастливым случаем

Как только начинало припекать и подсыхала грязь, желтая и худая Халима, повязанная по самые брови шелковым линиялым платком, начинала просушивать постель. Она выносила раскладушки и наваливала на них одеяла, коврики, перины такой огромной разноцветной кучей, что непонятно было, как все это помещается в двух крошечных подвальных комнатах, где она жила с бритоголовым мужем Ахметом и множеством разновозрастных детей. Куча эта возвышалась как раз под окном Клюквиных, живших на первом этаже дощатого двухэтажного дома.

Пока одеяла и подушки грелись на солнце, отдавая накопленную за зиму подвальную сырость, вредноющая старуха Клюквина, высунувшись в окно между цветочными горшками, добросовестно и монотонно бранила Халиму.

– Колюня, Колюня, подь сюда! – приказала она своему шкодливому внуку Кольке. – А ну-ка скинь все!

Колюня с удовольствием побежал во двор и, выждав минуту, когда Халима отлучилась, перевернул раскладушку.

Халима сердилась, нет ли – понять было нельзя. Она была молчалива и терпелива. Она подобрала вещи, сложила на раскладушки и посадила рядом дочку Розку – стеречь.

Халимины выставленные раскладушки обычно служили сигналом – женщины вывешивали на бельевых веревках, натянутых между липами, зимние пальто и одеяла, а на изгородях рассаживались, как огромные разноцветные кошки, толстые подушки. По коврам и половикам хлопали палками, выстреливая облачками уютной домашней пыли.

Старуха Клюквина все стояла у окна и поругивалась. Потом в голову ей пришло, что неплохо бы проветрить свою плюшевую жакетку. Нести во двор она не хотела – а ну как украдут? – и решила проветрить ее на чердаке.

Она позвала Кольку, велела ему оттащить на чердак «шубу», как она уважительно называла свою жакетку, и, снявши в сенцах ключ с гвоздя, стала подниматься вслед за Колькой на чердак.

Просторная деревянная лестница вела на второй этаж, а там она суживалась, делала резкий поворот и останавливалась у низкой двери.

Старуха Клюквина отомкнула всякий замок, и они вошли в огромное, уже нагретое ранним солнцем помещение. Скаты крыши были неровными, посреди чердака крыша

Девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru горбилась и уходила вверх, а в одной из скошенных стен зияло большое двустворчатое окно, через которое падал на чердак полосатый поток зыбкого и мутного света.

Колюня уже бывал здесь – и каждый раз восхищенно замирал перед кучами хлама, жадно разглядывая причудливые очертания, образованные самоварной трубой, рогатой вешалкой, вставшим на дыбы сундуком и лежащим на боку шкафом, покрытым нежной попоной пыли.

Колька ткнулся было туда, но бабка, повесив жакетку на бельевую веревку, потянула его к выходу. Она замкнула низкую дверь и, переваливаясь на пухлых ногах, стала тяжело спускаться по деревянной лестнице. Колюня шел следом, мучительно соображая, как бы стащить у нее ключ и забраться одному на чердак. Но ключи она несла в руке, а руку опустила в карман передника.

Колюня вышел во двор и задумчиво посмотрел на крышу. Окно на чердаке было приоткрыто; раздвоенный ствол большой липы направлялся было в сторону окна, но потом сворачивал, так что залезть с него на крышу было никак нельзя. Трехэтажный дом, кирпичный, более поздней постройки, стоял вплоты к их хлипкому деревянному, стены лепились друг к другу, но крыша трехэтажки, этого небоскреба их квартала, метра на полтора возвышалась над крышей Колюниного дома.

«Если выход на чердак в трехэтажке открыт, можно рискнуть», – решил Колюня.

Одним махом он взлетел на третий этаж. Две двери вели в квартиры, а между ними была еще одна, поплоче, чердачная. Она оказалась запертой. Но Колькина хитроумная голова работала – и он пошел просить ключ от чердака к дворничихиному Витьке. Он ловко наврал ему, что на крышу упал мяч, и не какой-нибудь, а известный во всех дворах района Шуркин кожаный мяч, и что никто из ребят не знает, куда его занесло, а он, Колька, лично видел, как мяч залетел на крышу. И если Витька поможет ему достать ключ от чердачной двери, то они вдвоем будут навеки владельцами Шуркиного мяча!

У Витьки загорелись глаза, и он пообещал немедленно поспособствовать. Добыть ключи Витьке не стоило никакого труда: мать, похрапывая, спала на узкой коечке за печкой, а ключи горкой лежали посреди стола.

Через три минуты оба они стояли у чердачной двери, примеривая к замку ключи. Вышедший из соседней двери старик Конюхов подозрительно посмотрел на них и спросил, что это они тут делают. Витька замялся, а Колюнька приветливо и лживо сказал:

– А тетя Настя велела метлы принести, тут они стоят...

– А-а-а, – удовлетворенно протянул Конюхов и, громя палкой, пошел вниз по лестнице.

Дверь наконец открылась. Этот плоский чердак не представлял для Кольки никакого интереса. Пахло мышами, стояли старая перевернутая кровать и детская ванночка...

«То ли дело наш...» – мелькнуло у Колюни. И он представил себе, как заберется в самую середину огромной кучи, как загудит самоварная труба и как здорово он там заживет...

Через слуховое окошко они вылезли на крышу. Давно не крашенная плоская крыша, ничем не огороженная, а лишь заканчивающаяся узким отворотом ржавого железа, гулко гроыхала под ногами. Вниз смотреть было страшно.

– Нет мяча-то, – прошептал Витька, – где он, твой мяч, а?

А сам зачарованно уставился вниз. Земля круглилась внизу, и было здорово заметно с такой высоты, до чего же она круглая, до чего большая. С одной стороны шли все маленькие дома, и горизонт был как бы открыт, и дома не кончались, а только сливались в серо-зеленой дымке. Самые высокие липы были ниже их. Настоящей листвы еще не было, только легкая прозелень на ветках, и между ними был виден двор, и соседский двор, и кусок улицы с дрожащим трамваем. Каланча казалась близкой и словно уменьшившейся в размере, так же как широкое тело Пименовской церкви.

– Какой мяч? – переспросил Колька, далеко в мыслях отошедший от своей хитрой выдумки. – А, мяч... Да, видно, вон туда скатился, – сказал Колюня и целеустремленно пошел к краю крыши, нависающему над двухэтажкой.

– Ты посиди пока, я слезю на двухэтажку, может, там мяч-то, – сказал одержимый своим чердаком Колюня, уже свесив ноги и уцепившись за край крыши. Он разжал пальцы и ловко приземлился на крышу двухэтажки. Крыша эта была горбом, идти по ней было неудобно. Он подошел к растворенному чердачному окну и, держась за приоткрытую раму, глянул вниз.

Он увидел задний двор, большой голый дуб, лишайники сараев, Шуркину голубятню, блестящий, всем двором обожаемый «опель кадет» дяди Димы Орлова... Он присел на корточки – ему хотелось увидеть и то, что было закрыто от его зрения: раскладушку с разноцветными перинами, песочницу, маленьких Нинку и Валерку, только что игравших в песке, доминошный стол...

Старуха Клюквина, позвякивая ключом от чердака, все не могла успокоиться.

– Ишь, выложила свое тряпье под самый нос, – ворчала она.

Потом встала, взяла совок, выгребла из печки немного золы и подошла к окну. Халима как раз отвернулась, а старуха ловким, даже каким-то спортивным движением сыпанула из окна золу прямо на раскладушку и, как маленькая девочка, с хитрым видом спряталась за занавеску – наблюдать за Халимой. Но та вытирала носы двум своим меньшим сыновьям и все не оборачивалась.

И вдруг странная фигура мелькнула прямо перед глазами Клюквиной. Черная, небольшая, она камнем упала сверху, прямо в середину Халиминого тряпья, и раскладушка, хрюкнув, развалилась. Над бледным Колькой стояла Халима. Она взглянула в его лицо, увидела тоненькую струйку крови, вытекающую изо рта, и схватила его на руки.

– Живой? Живой ты? Руки, ноги целые? – И забормотала что-то по-татарски, радостно прижимая к себе этого шкодливого, хитрого, никем во дворе не любимого мальчишку.

И еще не вполне поняв, что же произошло, старуха Клюквина бежала на своих ватных ногах к раскладушке и кричала:

– он, бес! Не парень, бес! и откуда же это он сверзился?

Кольку, живого и невредимого, но с прокушенным языком, вечером выпороли.

На другой день вредная старуха Клюквина, держа за руку Колюню, торжественно отнесла в подвал Халиме покрытый от мух полотенцем большой пирог с вареньем. Все соседи видели, как Клюквина поклонилась Халиме и сказала громким скандальным голосом:

– Прости меня, Халима. Кушайте на здоровье.

А Халима стояла в дверях, высокая, похожая одновременно на худую лошадь и на пантеру, в линиях платке, удивительно красивая.

Бумажная победа

Когда солнце растопило черный зернистый снег, и из грязной воды выплыли скопившиеся за зиму отбросы человеческого жилья – ветошь, кости, битое стекло, – и в воздухе поднялась кутерьма запахов, в которой самым сильным был сырой и сладкий запах весенней земли, во двор вышел Геня Пираплетчиков. Его фамилия писалась так нелепо, что с тех пор, как он научился читать, он ощущал ее как унижение. Помимо этого, у него от рождения было неладно с ногами, и он ходил странной, прыгающей походкой.

Помимо этого, у него был всегда заложен нос, и он дышал ртом. Губы сохли, и их приходилось часто облизывать.

Помимо этого, у него не было отца. Отцов не было у половины ребят. Но в отличие от других Геня не мог сказать, что его отец погиб на войне: у него отца не было

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya.ludmila.ru вообще. Все это, вместе взятое, делало Геню очень несчастным человеком.

Итак, он вышел во двор, едва оправившись после весенне-зимних болезней, в шерстяной лыжной шапочке с поддетым под нее платком и в длинном зеленом шарфе, обмотанном вокруг шеи.

На солнце было неправдоподобно тепло, маленькие девочки спустили чулки и закрутили их на лодыжках тугими колбасками. Старуха из седьмой квартиры с помощью внучки вытащила под окно стул и села на солнце, запрокинув лицо.

И воздух, и земля – все было разбухшим и переполненным, а особенно голые деревья, готовые с минуты на минуту взорваться мелкой счастливой листвой.

Геня стоял посреди двора и ошеломленно вслушивался в поднебесный гул, а толстая кошка, осторожно трогая лапами мокрую землю, наискосок переходила двор.

Первый ком земли упал как раз посередине, между кошкой и мальчиком. Кошка, изогнувшись, прыгнула назад. Геня вздрогнул – брызги грязи тяжело шлепнулись на лицо. Второй комок попал в спину, а третьего он не стал дожидаться, пустился вприпрыжку к своей двери. Вдогонку, как звонкое копье, летел самодельный стишок:

– Генька хромой, сопли рекой!

Он оглянулся: кидался Колька Клюквин, кричали девчонки, а позади них стоял тот, ради которого они старались, – враг всех, кто не был у него на побегушках, ловкий и бесстрашный Женька Айтыр.

Геня кинулся к своей двери – с лестницы уже спускалась его бабушка, крохотная бабуська в бурой шляпке с вечнозелеными и вечноголубыми цветами над ухом. Они собирались на прогулку на Миусский скверик. Мертвая потертая лиса, сверкая янтарными глазами, плоско лежала у нее на плече.

...Вечером, когда Геня похрапывал во сне за зеленой ширмой, мать и бабушка долго сидели за столом.

– Почему? Почему они его всегда обижают? – горьким шепотом спросила наконец бабушка.

– Я думаю, надо пригласить их в гости, к Гене на день рождения, – ответила мать.

– Ты с ума сошла, – испугалась бабушка, – это же не дети, это бандиты.

– Я не вижу другого выхода, – хмуро отозвалась мать. – Надо испечь пирог, сделать угощение и вообще устроить детский праздник.

– Это бандиты и воры. Они же весь дом вынесут, – сопротивлялась бабушка.

– У тебя есть что красть? – холодно спросила мать.

Старушка промолчала.

– Твои старые ботинки никому не нужны.

– При чем тут ботинки?.. – тоскливо вздохнула бабушка. – Мальчика жалко.

Прошло две недели. Наступила спокойная и нежная весна. Высохла грязь. Остро отточенная трава покрыла засоренный двор, и все население, сколько ни старалось, никак не могло его замусорить, двор оставался чистым и зеленым.

Ребята с утра до вечера играли в лапту. Заборы покрылись меловыми и угольными стрелами – это «разбойники», убегая от «казаков», оставляли свои знаки.

Геня уже третью неделю ходил в школу. Мать с бабушкой переглядывались. Бабушка, которая была суеверна, сплевывала через плечо – боялась сглазить: обычно перерывы между болезнями длились не больше недели.

Бабушка провожала внука в школу, а к концу занятий ждала его в школьном вестибюле, наматывала на него зеленый шарф и за руку вела домой.

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Накануне дня рождения мать сказала Гене, что устроит ему настоящий праздник.

– Позови из класса кого хочешь и из двора, – предложила она.

– Я никого не хочу. Не надо, мама, – попросил Геня.

– Надо, – коротко ответила мать, и по тому, как дрогнули ее брови, он понял, что ему не отвертеться.

Вечером мать вышла во двор и сама пригласила ребят на завтра. Пригласила всех подряд, без разбора, но отдельно обратилась к Айтыру:

– И ты, Женя, приходи.

Он посмотрел на нее такими холодными и взрослыми глазами, что она смутилась.

– А что? Я приду, – спокойно ответил Айтыр.

И мать пошла ставить тесто.

Геня тоскливо оглядывал комнату. Больше всего его смущало блестящее черное пианино – такого наверняка ни у кого не было. Книжный шкаф, ноты на этажерке – это было еще простительно. Но Бетховен, эта ужасная маска Бетховена! Наверняка кто-нибудь ехидно спросит: «А это твой дедушка? Или папа?»

Геня попросил бабушку снять маску. Бабушка удивилась:

– Чем она тебе вдруг помешала? Ее подарила мамина учительница... – и бабушка стала рассказывать давно известную историю о том, какая мама талантливая пианистка, и если бы не война, то она окончила бы консерваторию...

К четырем часам на раздвинутом столе стояла большая суповая миска с мелко нарезанным винегретом, жареный хлеб с селедкой и пирожки с рисом.

Геня сидел у подоконника, спиной к столу, и старался не думать о том, как сейчас в его дом ворвутся шумные, веселые и непримиримые враги... Казалось, что он совершенно поглощен своим любимым занятием: он складывал из газеты кораблик с парусом.

Он был великим мастером этого бумажного искусства. Тысячи дней своей жизни Геня проводил в постели. Осенние катары, зимние ангины и весенние простуды он терпеливо переносил, загибая уголки и расправляя сгибы бумажных листов, а под боком у него лежала голубовато-серая с тисненым жирафом на обложке книга. Она называлась «Веселый час», написал ее мудрец, волшебник, лучший из людей – некий М. Гершензон. Он был великим учителем, зато Геня был великим учеником: он оказался невероятно способным к этой бумажной игре и придумал многое такое, что Гершензону и не снилось...

Геня крутил в руках недоделанный кораблик и с ужасом ждал прихода гостей. Они пришли ровно в четыре, всей гурьбой. Белесые сестрички, самые младшие из гостей, поднесли большой букет желтых одуванчиков. Прочие пришли без подарков.

Все чинно расселись вокруг стола, мать разлила по стаканам самодельную шипучку с коричневыми вишенками и сказала:

– Давайте выпьем за Геню – у него сегодня день рождения.

Все взяли стаканы, чокнулись, а мама выдвинула вертящийся табурет, села за пианино и заиграла «Турецкий марш». Сестрички заворуженно смотрели на ее руки, порхающие над клавишами. У младшей было испуганное лицо, и казалось, что она вот-вот расплачется.

Невозмутимый Айтыр ел винегрет с пирожком, а бабушка суетилась около каждого из ребят точно так же, как суетилась обычно около Генечки.

Мать играла песни Шуберта. Это была невообразимая картина: человек двенадцать плохо одетых, но умытых и причесанных детей, в полном молчании поедавших

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая litskaya@ludmila.ru
угощение, и худая женщина, выбивавшая из клавишей легко бегущие звуки.

Хозяин праздника, с потными ладонями, устремил глаза в тарелку. Музыка кончилась, выпорхнула в открытое окно, лишь несколько басовых нот задержались под потолком и, помедлив, тоже уплыли вслед за остальными.

– Генечка, – вдруг сладким голосом сказала бабушка, – может, тоже поиграешь?

Мать бросила на бабушку тревожный взгляд. Генино сердце едва не остановилось: они ненавидят его за дурацкую фамилию, за прыгающую походку, за длинный шарф, за бабушку, которая водит его гулять. Играть при них на пианино!

Мать увидела его побледневшее лицо, догадалась и спасла:

– В другой раз. Геня сыграет в другой раз.

Бойкая Боброва Валька недоверчиво и почти восхищенно произнесла:

– А он умеет?

...Мать принесла сладкий пирог. По чашкам разлили чай. В круглой вазочке лежали какие угодно конфеты: и подушечки, и карамель, и в бумажках. Колька жрал без зазрения совести и в карман успел засунуть. Сестрички сосали подушечки и наперед загадывали, какую еще взять. Боброва Валька разглаживала на острой коленке серебряную фольгу. Айтыр самым бесстыжим образом разглядывал комнату. Он все шарил и шарил глазами и наконец, указывая на маску, спросил:

– Теть мусь! А этот кто? Пушкин?

Мать улыбнулась и ласково ответила:

– Это Бетховен, Женя. Был такой немецкий композитор. Он был глухой, но все равно сочинял прекрасную музыку.

– Немецкий? – бдительно переспросил Айтыр.

Но мама поспешила снять с Бетховена подозрения:

– Он давным-давно умер. Больше ста лет назад. Задолго до фашизма.

Бабушка уже открыла рот, чтобы рассказать, что эту маску подарила тете Мусе ее учительница, но мать строго взглянула на бабушку, и та закрыла рот.

– Хотите, я поиграю вам Бетховена? – спросила мать.

– Давайте, – согласился Айтыр, и мать снова выдвинула табурет, крутанула его и заиграла любимую Генину песню про сурка, которого почему-то всегда жалко.

Все сидели тихо, не проявляя признаков нетерпения, хотя конфеты уже кончились. Ужасное напряжение, в котором все это время пребывал Геня, оставило его, и впервые мелькнуло что-то вроде гордости: это его мама играет Бетховена, и никто не смеется, а все слушают и смотрят на сильные разбегающиеся руки. Мать кончила играть.

– Ну, хватит музыки. Давайте поиграем во что-нибудь. Во что вы любите играть?

– Можно в карты, – простодушно сказал Колюня.

– Давайте в фанты, – предложила мать.

Никто не знал этой игры. Айтыр у подоконника крутил в руках недоделанный кораблик. Мать объяснила, как играть, но оказалось, что ни у кого нет фантов. Лилька, девочка со сложно заплетенными косичками, всегда носила в кармане гребенку, но отдать ее не решилась – а вдруг пропадет? Айтыр положил на стол кораблик и сказал:

– Это будет мой фант.

девочки (сборник). Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya1udmila.ru
Геня придвинул его к себе и несколькими движениями завершил постройку.

– Геня, сделай девочкам фанты, – попросила мать и положила на стол газету и два листа плотной бумаги. Геня взял лист, мгновение подумал и сделал продольный сгиб...

Бритые головы мальчишек, стянутые тугими косичками головки девчонок склонились над столом. Лодка... кораблик... кораблик с парусом... стакан... солонка... хлебница... рубашка...

Он едва успевал сделать последнее движение, как готовую вещь немедленно выхватывала ожидающая рука.

– И мне, и мне сделай!

– Тебе он уже сделал, бессовестная ты! Моя очередь!

– Генечка, пожалуйста, мне стакан!

– Человечка, Геня, сделай мне человечка!

Все забыли и думать про фанты. Геня быстрыми движениями складывал, выравнял швы, снова складывал, загибал уголки. Человек... рубашка... собака...

Они тянули к нему руки, и он раздавал им свои бумажные чудеса, и все улыбались, и все его благодарили. Он, сам того не замечая, вынул из кармана платок, утер нос – и никто не обратил на это внимания, даже он сам.

Такое чувство он испытывал только во сне. Он был счастлив. Он не чувствовал ни страха, ни неприязни, ни вражды. Он был ничем не хуже их. И даже больше того: они восхищались его чепуховым талантом, которому сам он не придавал никакого значения. Он словно впервые увидел их лица: не злые. Они были совершенно не злые...

Айтыр на подоконнике крутил газетный лист, он распустил кораблик и пытался сделать заново, а когда не получилось, он подошел к Гене, тронул его за плечо и, впервые в жизни обратившись к нему по имени, попросил:

– Гень, посмотри-ка, а дальше как...

Мать мыла посуду, улыбалась и роняла слезы в мыльную воду.

Счастливый мальчик раздаривал бумажные игрушки...

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://ulitskaya1udmila.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!